ВСЕМИРНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА



ВИКТОР ДРАГУНСКИЙ

Сегодня и ежедневно

Виктор Юзефович Драгунский

Виктор Драгунский. Сегодня и ежедневно
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Виктор Драгунский
Сегодня и ежедневно

1

Это был, пожалуй, самый лучший рыжий парик из всех, в которых мне приходилось работать. Он был удивительного алого цвета, волосы на нем лежали, как живые, врассыпную, и, кроме этого, он был снабжен всей возможной техникой: в его монтюр были вшиты и резиновые трубочки слезопроводы, и крылья его поднимались оба вместе и каждое в отдельности, и, главное, он был по мне, он был мой любимый. Сделал его несколько лет тому назад сам Николай Кузьмин, непревзойденный мастер всяких наших цирковых парикмахерских ухищрений. Я редко надевал этот парик, все берег, экономил, а сейчас вот вынул его из туго набитого чемодана и надел. И как только надел, так снова убедился в необычайной его добротности и в удивительном свойстве: лицо мое под этим париком мгновенно изменилось до неузнаваемости, стало именно таким, каким бы я хотел его видеть перед выходом, и от этого мне сразу стало весело и захотелось работать. Я взял на палец немного второго тона, растер его чуть-чуть и аккуратно замазал все

лицо, законопатил все его чудовищные рытвины и морщины, особенно возле носа и у глаз, затем я хорошенько зашпаклевал все свои синие веснушки и плотно загрунтовал шов, чтобы совершенно не видно было того места, где гладкий лобик парика соединяется с моим довольно морщинистым лбом. Потом я растушевал краску от скул и подбородка к шее, свел ее на нет и прибавил как следует красного у висков. Нос я сегодня сделал себе из гуммоза, он хорошо взялся и торчал такой добродушной картошечкой, я и его подкрасил, да и губы тоже, никак, впрочем, их не деформируя, не уменьшая и тем более не увеличивая, — рот у меня, слава богу, от природы не маленький. Настоящий клоунский рот, во всяком случае его отовсюду видно, в этом я не сомневаюсь. Светло-кофейный пиджак и брюки с мотней, оранжевый бант, полуметровые ботинки и зеленая кепка. Собственно говоря, я готов, можно уже идти. Но еще рановато, и можно посидеть перед зеркалом несколько минут. Хорошо было сидеть в старом цирке, в маленькой старой гардеробной, в которой когда-то, может быть, сиживал мой отец, сидеть в полном клоунском облачении перед зеркалом и слушать знакомые звуки цирка, и прежде всего далекую музыку, и стараться уга-

дать по музыке, какой там номер работает сейчас на манеже, и как он — нравится публике или нет, «проходит» артист в программе или так, еле ползет и получает в награду лишь вежливые аплодисменты. Минуты бежали, я сидел у зеркала и, сказать по правде, немного волновался. Теперь нужно было идти. Я улыбнулся в зеркало и скорчил знаменитую гримасу… Все в порядке.

— Ура-ри-ру! Вот он я!..

Я вышел из гардеробной. В коридоре было пусто, звуки оркестра стали явственней, и я подумал, что где-то уже слышал эту музыку и что она мне не нравится. Я так шел, и думал, и старался вспомнить, и наконец вспомнил Ташкент и лысого молодого человечка, Лыбарзина — лысого, уже толстеющего жонглера. Мы работали в одной программе, он скользкий был, этот тип, и большой ходок по бабам, он пудрился, и от него всегда несло дешевым одеколоном. И когда мы в первый раз увиделись, познакомились, я помню, он коснулся моей руки своими холодными скользкими руками. Потом он куда-то неожиданно уехал и в спешке забыл со мной проститься, и сейчас мы снова с ним встретились в программе, и он, наверно, сконфузится, когда увидит меня. Чепуха какая. А все-таки артистом этот Лыбарзин

никогда не станет. Нет, нет. На мой взгляд, не станет. Начнем с того, что его фамилия вот уже несколько лет встречается на афишах разных цирков, а кидает он все равно не больше пяти предметов и то, как правило, «сыплет» — нет отработанности, нет блеска в номере, того самого блеска, который достигается непрерывной, жестокой и требовательной тренировкой. У него все случайно, напряженно, никогда нельзя быть вполне уверенным, что номер пройдет гладко. Правда, он прыгает немножко и после каждого трюка крутит колесо, как на первом курсе, или еще что-нибудь в этом же бесхитростном роде, а то под финал скрутит даже задний сальто-мортале, и все это с прикриком, с продажей, с вольтажом-куражом и черт его знает еще с чем, и в результате все-таки удается подэлектризовать публику, и ему хлопают, и девочки десятых классов пищат: «Лыбарзин», — и этот дурак улыбается им улыбкой уличной девки. Не артист, нет.

Я спускался вниз, никого не встретив по пути, лишь в самом низу из-за занавески навстречу мне вырвался молодой испуганный униформист. Я никогда в жизни не видел его. Узнав меня, он остановился как вкопанный.

— А, дядя, Коля, — сказал он и вздохнул. — Это

вы… уже идете?

Он, видно, недавно в цирке. Поэтому и подумал, что я могу опоздать на выход. Я сказал:

— Да, это я. Ступай в манеж. И не пыхти так.

Он хихикнул и побежал обратно. Сзади хорошо было видно, какие у него смешные торчащие уши с резко срезанным углом внизу.

У репертуарной доски никого не было. Я посмотрел программу. В третьем отделении было написано: «Слоны», и я понял, что Ванюша Русаков здесь, это было очень хорошо, номер международного класса, работу Русаков показывал такую, какую нигде больше нельзя было увидеть, и этого одного было бы достаточно для полных сборов в любой столице мира. Второе отделение, видимо, было еще не полностью сформировано, в программе белые пропуски, но все-таки было ясно, что номера будут отличные, по первому классу, разнообразные по жанрам, и хотя там были и случайности вроде Лыбарзина, но, в общем, все строилось неплохо и, может быть, даже с расчетом на экстра-класс. Уже одно то, что я заканчивал первое отделение, говорило о многом, ведь мое законное место в нормальных программах всегда было в конце второго отделения, здесь обычно нашей режиссурой устанавливался

этакий смеховой пик программы, потому что я давал два-три сцепленных антре одно за другим, низал их в целое ожерелье, смеха получалось, в общем, довольно много, и можно было на этом успокоиться. Но здесь, видно, был другой замысел, здесь все было немножко передвинуто, и раз уж меня поставили в первое отделение, значит, у них в кармане есть нечто более интересное, значит, готовится что-то грандиозное, какой-то ошеломляющий сюрприз. Программа еще только собирается, и артисты съезжаются сюда со всех концов Союза, официальная премьера состоится через несколько дней, а сегодня первая черновая репетиция, прогон программы и просмотр уже прибывших номеров. А по-настоящему лепить, выстраивать программу начнут не раньше чем послезавтра, когда съедутся все гастролеры.

Я прикидывал в уме самые различные варианты. Из комнаты инспектора вышел Борис. Мы с ним старые товарищи. Он знал меня еще молодым, розовым мальчишкой. Мы с ним старые товарищи, но я его молодым не знал. Он всегда был высоким, плотным, одет в отличную черную пару, тщательно причесан на пробор. Увидев меня, Борис ускорил шаги. Он подошел ко мне. Мы пожали друг другу руки.

— Ты приехал, Николай? — сказал Борис, как всегда чуточку в нос. — Ты приехал?

— Вот он я.

Он положил мне руку на плечо. Значит, рад был свидеться. Он дружил еще с моим отцом. Однажды, когда мать спала, я снял с ее руки кольцо и проглотил его. Оно встало у меня поперек горла. Отец схватил меня на руки и побежал. Я задыхался и синел. Отец бежал по цирку как слепой. Он тыкался во все двери и не мог найти выхода. Его увидел Борис. Он отнял меня у отца, этот решительный человек, и мизинцем вытащил застрявшее в горле кольцо. Теперь он стоял, положив руку мне на плечо, и радовался, что мы свиделись. Я радовался, наверно, еще больше. Я знал, что мы хотим поцеловаться. Мы оба знали это, и с нас было достаточно.

— Что-нибудь нужно? — спросил Борис.

— Нет, — сказал я, — ничего не нужно. Я выйду, а ты стой сбоку сыграем мою любимую. Классику.

— Вильгельм Телль? — спросил Борис.

— Да, Вильгельм Телль, — сказал я.

Я люблю это старое, классическое, наивное и уморительное антре. Я видел многих исполнителей этой бесподобной сценки, но я никого их

не сравню с отцом, сам я только подражаю ему, и теперь выбором этой сценки для сегодняшнего вечера я хотел сделать приятное Борису. Он это понял, я видел, как благодарно сбежались морщинки к углам его глаз. В это время к нам подошел Жек. Тоже старый друг, профессор всех возможных и невозможных цирковых искусств, в униформе нет никого старше его, опытней и умелей. Да он, собственно, и не униформист, он гораздо выше любого инженера, он прекрасно разбирается во всех цирковых аппаратах, сам может сконструировать удивительные вещи, отремонтировать все на свете — от медвежьего намордника до какого-нибудь капризничающего подшипника в «воздушной ракете». Он — главный помощник Бориса, его верная опора, и я люблю его юмор, его седые волосы, шрам на лбу и коричневый румянец.

— Кого мы видим! — сказал Жек. — Мы видим короля клоунады! И мы видим его уже готовым. Запишите, он уже в костюме! Ну, здорово! Как она, жизнь?

— Как в сказке, — сказал я. — Чем дальше, тем интересней.

— Ага, живой! — сказал Жек. — Раз шутит — значит, живой. А про тебя здесь говорили, что ты

подорвался!

— Это верно, — сказал я. — Что верно, то верно — подорвался.

Борис придвинулся ко мне близко и стал рассматривать мое лицо. Он внимательно осмотрел меня сверху вниз, потом снизу вверх. Это было похоже на обнюхивание.

— Ничего не вижу, — сказал Борис, — а сказали — подорвался, все лицо изуродовал. Где же следы? Ничего не видать...

— Есть следы, — сказал я. — Я теперь весь в синюю крапочку. Очень интересный.

— Хорошо, что глаза не выжгло, — сказал Жек. — Но небось исчезла вся ваша неземная красота? Бедные девочки, погиб ихний красавчик.

— Не беспокойся за моих девочек, я еще лучше стал, тебе говорят. Теперь девочки со стульев падают, как только я выхожу на манеж.

— Ах, вот оно что! — сказал Жек. — Там у центрального входа целых три штуки валяются, это, случаем, не через вас? Не ваши это жертвы?

— Ну да, мои, — сказал я. — Неужели вы не знали? Одичали вы тут как-то.

— Слушай, — сказал Борис, — сколько можно разыгрывать? Расскажи-ка, что будешь делать? Я тебе нужен?..

— Да ведь я говорил. Вильгельм Телль.

— Ну да. А на выход?..

— На выход «собачку».

— «Собачку»?

Было видно, что ему по душе мое пристрастие к старым «классическим» репризам. Но что-то его тревожило.

— Да, — сказал я, — «собачку». А что? Ты имеешь что-нибудь против?

— Да нет, — сказал он нерешительно. — Я ничего не имею против. Но ведь ее давно не делают. Вышла из моды. Забытые страницы.

— Ну да, беззубое зубоскальство…

— Безыдейщина, — вздохнул Жек. — Куда там!

— Тогда сделаем так, — сказал я. — «Добрый вечер! — скажу я. — Здрасте! Я клоун! Разрешите мне приветствовать вас от имени всего нашего дружного, спаянного коллектива.

Вот бежит речушка,

А за нею лес!

А над ним сияют

Огни только что открытой,

но довольно-таки мощной ГЭС».

— Во-во! — сказал Жек. — Очень хорошо. Все будут хохотать как сумасшедшие. Они попадают прямо со стульев. Пойду соломки постелю.

— Понимаешь, я какой-то странный, — сказал я, — чокнутый, наверно. Мне хочется, чтобы они действительно смеялись. Наяву. Раз я клоун и раз я к ним вышел, они должны смеяться. Понимаешь, я чокнутый, и мне так кажется. Иначе я никуда не гожусь. И не беспокойся, они будут смеяться вполне идейно. Я это умею. Я живу как раз для этого, уважаемые члены дорпрофсожа!

— Разошелся, — сказал Жек, — кипятится…

Я сказал:

— Если они не смеются, если они не будут смеяться, когда я выхожу в манеж, можете послать меня ко всем собачьим свиньям. Меня вместе с моим париком, штанами и репертуарным отделом Главного управления цирков.

— Тише, — сказал Жек, — говори шепотом. Начальство услышит — голову оторвет.

— Плевал я на твое начальство.

— Замолкни, Жек, — сказал Борис, — не зли его. Ведь он же перед выходом. Ему сейчас работать… — И он повернулся ко мне.

А я не злился. Сказал, что думаю, вот и все.

— Ты где остановился? — спросил Борис.

— Еще нигде. Прямо с вокзала в цирк. Прошел наверх, заглянул в малый коридор, а на дверях моя афиша. Ты устроил?

— Ну, я, — сказал Борис.

— Спасибо, — сказал я, — это здорово, когда есть собственная гардеробная. Маленькая, но своя. Это дом.

Да, да. Мы бездомные бродяги, и для нас своя отдельная гардеробная это дом и мир. Не люблю гримироваться в длинной общей комнате на восемнадцать человек, в комнате, где шумно, как на стадионе, и где твоя соседка справа, юная акробатка, — обязательно кормящая мать, а сосед слева занят тем, что целый день лечит собачку-математика от нервного расстройства.

— Спасибо, — сказал я еще раз.

— Вы заслужили, родные. — Жек все шутил.

Борис прислушался и скрылся за занавеской. Через секунду он вернулся к нам.

— Лыбарзин кончает, — сказал он, — сейчас выпущу следующую. Ты, Коля, постой здесь. Идем, Жек, слышишь?

Мимо нас пролетела какая-то барышня. Она была в белом, осыпанном бриллиантами трико. Накрахмаленная юбочка торчала всеми тремя слоями. Она остановилась у занавески. Я видел ее впервые в жизни. И сказал:

— А вот и каучук.

Она улыбнулась мне, ямочки украшали ее за-

бавную мордочку.

— Здрасте, дядя Коля, — сказала она и грациозно присела. — С приездом.

— Здрасте! — сказал я. — По-моему, я вижу вас первый раз в жизни.

— Я Валя Нетти, — сказала она, — вы меня просто не узнали, Валя Нетти, дочка Сергея Петровича.

Черт побери, я ее видел лет пятнадцать тому назад где-то в Ижевске, тогда ее носили на руках, она уже тогда щеголяла в одних передничках и юбочках. Правда, без трико. Тогда эта артистка была известна тем, что повсюду оставляла за собою лужицы. Даже у меня на коленях. Но теперь я не сказал ей об этом. Ей бы не пришлись по сердцу подобные воспоминания. После того как она мне сообщила, кто она такая, она смотрела на меня, видимо, ожидая, что я сейчас умру от восторга. Поэтому я всплеснул руками и сказал:

— Ой-ой, смотрите, как время бежит. Смотрите, какая вы большая, а я вас на руках носил.

Она засветилась вся и повертелась передо мной:

— Как вам костюм, дядя Коля? Только сегодня сшили, у нас всегда горячка.

— Хорош, — сказал я восхищенно, — хорош, и

тебе очень идет. — Она вся расцвела. — Только вот что, — продолжал я, — ты подтяни резинки повыше, а то ты все время стесняешься и опускаешь их, натягиваешь, они врезаются, и у тебя получаются повсюду шрамы и тело красное — некрасиво. Ты уж лучше сразу задери их повыше — и дело с концом.

Она так и сделала, а потом спросила:

— А не чересчур голо?

— Ну, — сказал я, — тут уж ничем не поможешь. И так чересчур голо, и этак то же самое.

На плечах у нее был легонький свитер, а ноги были голые, они начинали синеть и покрылись пупырышками. Она стала разминаться, подпрыгивать, и приседать, и высоко выкидывать ноги на батман, и сгибаться, и проворачивать корпус, почти касаясь пола затылком. В это время раздались недружные аплодисменты, и мимо нас проскочил разгоряченный Лыбарзин, за ним бежал пожилой униформист. Лыбарзин не заметил меня, он взбегал по лестнице, роняя на ходу разрисованные яркие мячи, кольца и булавы. Его униформист спотыкался и поминал черта. Я не стал окликать Лыбарзина. Не та была минута. С манежа донесся гулкий голос Бориса, он что-то прокричал, и сейчас же грянул оркестр. Из-за

занавески выглянуло испуганное лицо ушастого униформиста. Он крикнул:

— Нетти! Что же ты? Давай!..

И Валя побежала на выход, махнув мне рукой.

Я подумал, что надо бы мне посмотреть ее работу, совсем молоденькая, а в такой программе соло выступает, это не шутки. С другой стороны, уже одно то, что она дочка Сергея Петровича, говорит, что она должна быть хорошей артисткой, тут все должно быть на сливочном масле, старик не потерпит «туфты»: я, мол, хорошенькая, где чего недоделаю, так доулыбаюсь, оно и сойдет. Можно ручаться, что здесь и труд есть, и красота, и умение, иначе батя не выпустил бы ее.

В это время с манежа вернулся Борис, Жек шел за ним.

— Электрик эффекты знает? — спросил его Борис.

— Два раза утром проходили, — ответил Жек, — все в порядке, не идиот же он!

— Кто вас знает, — сказал Борис, — все вы такие. С первого взгляда вроде не идиот, а если, товарищи, глубже копнуть… В общем, если будут накладки, ты у меня за все в ответе.

Они подошли ко мне.

— После Нетти пойдешь, Коля, — сказал Борис.

~ Тебе-то не все равно? После тебя — лошади, и кончим отделение. Это пока на сегодня так, не против?

— Ладно, — сказал я, — тогда иди в манеж. Стой у форганга.

— Я тоже пойду, — сказал Жек.

— Значит, не объявлять? — спросил Борис.

— Да, не надо, — сказал я, — пошли. Ты только стой у форганга. Я выйду, и сработаем. Ты только «собачку» вовремя подай. Реплика в реплику. А дальше само пойдет.

— Да что я, в первый раз, что ли? — сказал Борис. — Ну, ни пуха!

— К черту, — сказал я, — иди к черту.

2

Жек побежал вперед, Борис поспешил за ним. Я прошел не торопясь к занавеске. Со стороны кулис висит довольно старая служебная занавеска, неприглядная, обшарпанная и затерханная, покрытая пятнами, жесткая и коротковатая. И я не люблю ее, когда иду в манеж... От нее, от этой старой тряпки, остается всего только восемь шагов до другого, парадного, занавеса, работающего на зрителя, и это роковое расстояние между двумя занавесками в старину называлось коридором смерти... Видно, всегда, во все времена страшно было артисту перейти эту роскошную бархатную черту занавеса, пышные складки которого отделяют зрителя от нашего волшебного мира, мира немыслимо голубоглазых красавиц и белозубых аполлонов, мира мечты и дерзости, мира безумной храбрости, риска и вызова, силы, ловкости и красоты, мира неслыханных мышц, необычайных поступков, желанного, волнующего, таинственного, зовущего цирка. Я люблю эту декоративную занавеску, и больше всего именно теперь, когда я иду в манеж, когда до встречи со

зрителем остаются считанные секунды. Я люблю ее потому, что верю в этот наш парадный цирковой мир, мое сердце бьется горячо и влюбленно, когда я стою в кромешной темноте перед этой занавеской в ожидании выхода, мое сердце бьется глухо и часто — это в него стучится кровь тысяч клоунских сердец, создавших цирк. И хотя я хорошо знаю на собственной шкуре, что такое наша адская работа, что такое ее пот и боль, ее разнообразные грыжи и выпадения прямых кишок, ее расплющенные суставы и отбитые крестцы, растяжения, вывихи, переломы и ушибы, — я верю в вечную легенду о цирке. И я умею пройти мимо этой жалкой занавески, не замечая ее убожества и нищеты и ощущая только суровый восторг и волнение перед тем невероятным и удивительным, что ждет меня там, за красным занавесом, на маленьком, усыпанном опилками кругу, перед смеющимся, грохочущим, ревущим и рукоплещущим празднеством, перед тем, что было, есть и пребудет во веки веков, — цирк, цирк, цирк!

...Я стоял так в темноте, в этом самом коридорчике смерти, музыка играла, и в разошедшиеся фалды занавеса было видно, как Валя Нетти крутит от самого оркестра к форгангу финаль-

ную комбинацию трюков: рун-дат флик-фляк — сальто-мортале. Это была ее бисовка, или, как говорят у нас, де капо. Эта девочка крутила серию мужских трюков, крутила классно, школьно, блистательно. Нет, ее батя не выпустил бы какую-нибудь недоделку на публику. Валей он мог гордиться: это была артистка цирка, артистка высокого класса. Публика вовсе не дура, далеко нет; наоборот, дурак тот, кто придумал это про публику. Если работа чистая, высокая, публика это сразу раскусит, она все видит и понимает, и Валю проводили дружно и горячо, и Борис, стоящий у форганга, два раза вернул убегавшую Валю, и она посылала «комплименты» залу, изящно отставляя то левую, то правую ногу и приветственно подымая руку.

Ушастый униформист подал ей маленький серебряный плащ, и она ушла с манежа красивой и достойной походкой, на носках, чтобы фигура выглядела женственной, и ее провожали дружными аплодисментами до самой той секунды, когда она скрылась за занавесом.

— Я смотрел, — сказал я, когда она прошла мимо меня и я почувствовал раскаленный ее запах. — Люкс, первый класс. Умница. — И добавил: — Ай, браво!

Так говорят обезьянкам, когда хотят одобрить их понятливость или вообще поощрить, приласкать. Так говорят в цирке обезьянкам, медвежатам и вообще разным симпатичным зверькам.

— Ай, браво! — сказал я еще раз и почувствовал, что девочка улыбается во тьме, гордая моим одобрением.

В эту секунду занавеска распахнулась на две стороны, и униформисты повернулись: один ряд — налево, другой — направо. Я стал виден зрительному залу, электрик вонзил свой прожектор прямо в меня. И я сразу пошел вперед… Несколько секунд я шел молча, и лишь поравнявшись с первым униформистом, то есть первым от меня и, следовательно, самым дальним от публики, я засмеялся. Это я делаю всегда, это мой пробный камешек, моя заявка, что-то вроде предъявления визитной карточки. Я сразу настраиваю публику на свою волну, и если она ее примет тоже сразу и безоговорочно, тогда все у нас пройдет как нельзя лучше, и мы оба, публика и я, будем наслаждаться нашей встречей — это закон. Сегодня зал был неполон, публика бесплатная, состоящая в какой-то части из артистов предыдущей программы, из их знакомых и родных, из работников аппарата,

из пап и мам, из случайно забредших людей, из завсегдатаев и болельщиков, словом, публика была самая пестрая. Но делать нечего, занавес за тобой задернут, чтоб не убежал, вот стоит Борис и вся его шарага-униформа — тоже стерегут, чтоб не убежал. Делать нечего, спасенья нет — алле! — и я рассмеялся, и эта сборная солянка, сидевшая в зале вместо моей милой сплоченной публики, вдруг рассмеялась мне в ответ, рассмеялась радостно, и удивленно, и заинтересованно. И тут я увидел, что все униформисты тоже засмеялись, и я похлопал по животу Жилкина, он стоял первым к публике, он наш председатель месткома, и когда я его похлопал, он прямо покатился со смеху, и лицо у него стало глупым и добрым, хотя в жизни Жилкин довольно сволочеватый старик. И тут я сразу почувствовал себя отлично и вышел уже в манеж. Я сделал всего два-три шага, как раз столько, сколько нужно, и с точностью до секунды во времени и до миллиметра в пространстве меня остановил Борис.

— Стоп! Стоп! Стоп! — закричал он радостно. — Николаша! Ты откуда?

— А-а! Борис Александрович, — сказал я. — Здрасте!

И я стал с ним здороваться, снимал бесконеч-

ную перчатку и лез целоваться, падал и чихал, словом, поработал возле него довольно долго и все время слышал многоголосый смех, и это меня подстегивало и подливало масла в огонь, и я импровизировал разные новые маленькие трюки. Борис все это принимал очень хорошо, готовно и профессионально, и мы могли бы так еще минут десять здороваться, но он ловко, умело и незаметно для публики поторопил меня, чтоб не затягивать, и сказал, вытаскивая у меня из-за пазухи детское ружье:

— А это что у тебя такое?

Я сказал:

— Это ружье! Берданка! Я на охоту иду! Я знаешь какой меткий?

— Ну да? — сказал Борис. — Ты меткий? Ни за что не поверю!

— Я — снайпер, — сказал я. — А ты не веришь. Да ты спроси кого хочешь! Все подтвердят… Да вот недавно, чего лучше! Недавно я охотился. В горах. Со своей верной собачкой. И вдруг гляжу — сверху орел. Крылья — во! Когти — во! Прямо камнем сверху — хлоп! Цап мою собачку — ив облака! Тут я сразу обозлился, вскинул ружье, приложился и сразу этого орла — бац! Точно! В глаз! Готов. Упал прямо передо мной… На камни.

— Ну да? — сказал Борис. — Вот это здорово!

— То-то! — сказал я.

— Ну, а собачка? — вспомнил Борис.

— Что — собачка? — сказал я.

— Ну, орла ты подстрелил, а собачка куда девалась?

— А собачка дальше полетела… — сказал я тихо. Эту фразу надо говорить, начиная с пустого места. Как будто у тебя температура тела ноль градусов. Как будто в мире до тебя не было клоунов и артистов. Чарли Чаплина или еще кого-нибудь. Как будто не было никогда ничего записано и прорепетировано. Как будто все это в первый раз в жизни, в веках, в литературе, тут чем меньше хочешь публике показать смешное, тем оно смешнее будет. Не жми педали, забудь все на свете, скажи так, как будто только что на свет появились эти слова. Скажи так, попробуй — и увидишь.

После того как на местах немножко поуспокоилось, я стал показывать работу. Все-таки я не был здесь целых два года, надо было показать, что время не проходит даром, и я выложил все, что накопил. Они принимали меня очень хорошо, особенно классику, но потом я решил: сейчас или никогда — и показал им «Галерею Бешеных».

И мне особенно дорого было то, что это злободневные политические репризы, а они смеялись, смеялись вовсю, и я не посрамил своего имени и имени моего отца — я сделал то доброе, что только и могу делать в этой жизни. Они смеялись, черт побери, и слезы текли у них из глаз, они сморкались и задыхались и многое забыли в эти минуты, и, может быть, даже забыли, что еще не миновала ужасающая опасность войны, которая не дает мне спокойно спать по ночам, потому что я тревожусь за них, за тех, кто смеется сейчас здесь, в цирке, я тревожусь за них, за их любовь, за их жизнь, за их детей… И вот сейчас они смеются, и все во мне смеется в ответ, и они даже не замечают этого, а я все равно тянусь к ним всем сердцем и знаю, что делаю для них свое веселое и доброе дело.

И когда я пошел за кулисы, Борис шесть раз возвращал меня на поклон, и я кланялся и «лепил корючки»: то кланялся, как прима из «Лебединого озера», а то как дамский любимчик тенор, а то приветствовал народ, как начальник главка, и они все хлопали, и под конец я просто снял парик и гуммоз с носа и поклонился очень серьезно, от души. И тут мы с ними совсем подружились, и когда я прошел за кулисы, я увидел эту старую

занавеску и вытер об нее мокрые руки, и она дружелюбно висела на моем плече, старая, уютная, знакомая…

— Сколько лет я тебя знаю? — сказал Жек. — Двадцать?

— Да, — сказал я, — прилично…

— Иди размазывайся, — сказал Борис, — порядок.

— Не могу привыкнуть, — сказал Жек, — двадцать лет смотрю, всегда смеюсь, как маленький…

— Колдун, — сказал Борис, — вся порода такая.

— Буфет работает? — спросил я.

— Работает. Только нету. Запретили.

— Для меня-то? — сказал я.

— Думаешь, ему выпить хочется? — сказал Жек. — Ничего подобного! Он это для виду. На самом деле ему повидаться хочется. «Знать, забило сердечко тревогу», — и он приложил палец к щеке и подперся, изображая хор Пятницкого.

— Ну, она-то на месте, — сказал Борис, — куда она денется. Поспеешь к своей Сикстинке.

— А вы, ребята, балабоны, — сказал я, — скоморохи вы, чтоб вас черти взяли… Пойду разденусь.

Они остались у репертуарной доски и смотрели мне вслед, и я шел, стуча своими длинными баш-

маками, и они, вероятно, смеялись мне вдогонку. И я слышал, как Жек крикнул мне не без яда:

— Ромео Джульетыч!

Но все это мне было совершенно безразлично. Главное было позади. Я отработал. Дал, что мог. И не впустую, нет, они смеялись. Если так будет всегда, то жить можно. СтОит.

3

Честно говоря, я немного устал. Просто физически. Наломался очень. Я вошел к себе в гардеробную и на гвоздиках, вбитых в стену, распялил вывернутый наизнанку и совершенно мокрый парик. Я снял с себя ботинки, пиджак, брюки, рубашку и трусы. Вот еще одно преимущество собственной гардеробной. Можно посидеть голяком после работы, а это кое-что да значит. Потом я подсел к зеркалу и размазался. Синие пятна на моем лице опять выступили наружу. Они не украшали меня, нет. Ну что ж, какой есть. Я надел халат, взял свежие трусы, махровую перчатку и пошел в душ. Там были три кабинки, но занята была только одна, в ней стоял под игольчатой сеткой воды какой-то паренек, совершенно незнакомый. На вид ему было не больше пятнадцати лет, тело у него было белое, гладкое, хорошо тренированное, без особо выдающихся мускулов, без этих узлов, наростов и мослов, какие бывают на теле у заслуженных цирковых лошаков. Весил он приблизительно сорок пять — сорок шесть, не больше. Должно быть, верх-

ний, подумал я, оберман. Подкидные доски или что-нибудь другое в этом жанре.

Я прошел мимо него в соседнюю кабинку, он как раз массировал себе левую ногу.

— Здрасте, дядя Коля, — сказал он. — Уже отработали?

Честное слово, я никогда не видел его до сих пор.

— Здравствуй, — сказал я и пустил воду, — а ты чей?

— Винеровский я. Вам слышно? Винер — икарийские игры.

— Слышно, — сказал я, — не надрывайся, слышно. Тебя как звать?

— Славик.

— Что-то я тебя в первый раз вижу…

— Ой, что вы, дядя Коля, это вы меня забыли. Мы с вами вместе в Харькове работали. Я тогда верхнего работал, я маленький был, но прыгучий… Это я теперь вырос, и вы меня не узнали. Теперь я тяжелый стал. Теперь Витька в оберманы вышел, ему десять лет, малыш, самый возраст, а мне уже поздно, мне теперь четырнадцать, теперь я среднего работаю.

— А сам старик как поживает?

— Дядя Винер-то? Отлично поживает, слава

богу. Только его радикулит мучает, прямо воет иногда от боли. Мы его спиртом натираем, всей труппой трем, ни черта не помогает, воет все равно. Хороший человек. Отец родной дядя Винер. Он меня из Днепропетровска взял, я сам из Днепропетровска. Он меня взял и усыновил. И работе научил. Отец родной, верно говорю. А отцом называть не велит. «Ты мне сын, Славка, это закон, — говорит, — но я тебе не отец. Твой отец был пожарник и погиб на посту. Он герой, и ты должен только его отцом считать и его память чтить». Вот какой дядя Винер и его жена, тетя Эмма. Их все в цирке уважают. Особенно его. Потому что он большой педагог. А она всю труппу оденет, обмоет, обошьет…

За плеском воды я плохо слышал его болтовню, но все равно разговор был приятный, вода лилась и бодрила, с этим парнишкой было просто и дружелюбно, и я подумал, что ему тоже нужна моя работа, она и ему помогает, ведь мало ли как может обернуться его жизнь.

— …Ну, конечно, иногда и выпьет, а что же, ведь он же не скандалит. Выпьет, и спать… А теперь в цирках не продают напитки, — донеслось из соседней кабинки. — Дядя Винер, как приехал, разбежался было в буфет, а ему от ворот поворот,

запрещено, приказ дирекции.

Мальчишка расхохотался. Его смех напомнил мне почему-то антоновские яблоки: как их кусаешь, спелые, полным ртом и жуешь всеми зубами сразу — и аромат, и вкус, и далекое детство. Странно, никогда не думал, что смех может напоминать яблоки.

А мальчишка не унимался:

— Ему когда в первый-то раз сказали, он только глаза вылупил на буфетчицу. Если б она не такая была, он бы, наверно, на нее наорал, он горячий, но тут, как ее разглядел, сдержался и стал возле стойки. Стоит и только глазами хлопает.

— А что, — крикнул я, — почему же он на нее не наорал? Что она, не такая, как все, что ли? В чем тут дело-то?

— Краси-ивая! — тоже крикнул мальчишка. — Красивая, будь здоров, закачаешься!

Он выскочил из-под душа, вода перестала шуметь в его кабине, и было слышно, как он зашлепал к своей скамье.

— Хорошо помылся, — сказал он, кряхтя, — да… А буфетчица наша, тетя Тая, красивая, прямо хоть в кино сниматься, а вы неужели никогда не видели ее?

— Не приходилось, — сказал я.

— Ну, тогда вы рухнете, — пообещал он.

Ах, симпатяга.

Я сказал:

— Ты сам в нее небось влюбился.

Он помолчал. Потом тяжело вздохнул.

— Ну что вы, дядя Коля. Куда я ей нужен — молодой еще. Я еще не влюбляюсь. А так вообще наши артисты многие по ней страдают. Вон Лыбарзин, жонглер, всю газировку у нее выдул, раз двадцать на дню в буфет бегает. Так и вьется, так и вьется. Да на кой он ей нужен, черт лысый, за ней майор на машине приезжает. Машина «Волга» у него, голубой экземпляр в экспортном исполнении…

Вот как. Интересное кино. Голубая «Волга». Лыбарзин. Таинственный майор.

— А скоро уж будут машины без колес? Вечемобили? — спросил мальчишка.

— Скоро, — сказал я. — Когда ты будешь вот такой, как я, будешь разъезжать на своем собственном вечемобиле.

Он рассмеялся, и опять я вспомнил про антоновские яблоки. Потом он сказал:

— Ну, всего вам хорошего, дядя Коля. Я пошел.

— Будь здоров.

Он вышел. Я остался один. Так. Голубая, значит, у вас «Волга», майор, в экспортном исполнении.

И вы на этой роскошной машине заезжаете за Таисией Михайловной. Какая прелесть. Я прибавил горячей воды и стоял так, не шевелясь, и вода шумела в моих ушах, лилась, текла по плечам, по груди и спине, журчала, скворчала, плескала, пенилась и гулко барабанила по голове, и я полоскал ею горло, а на вкус она была пресная, не хватало в ней чего-то на вкус, перцу, что ли, или соли, но, в общем, это была благословенная вода, и стоять так можно было до конца света, до второго пришествия, потому что эта вода смывала что-то с самой души и уносила в океан, только Лыбарзина она не смывала и майора тоже, нет, не смывала. Да, замечательные новости сообщило мне это ужасное дитя кулис.

Я закрыл кран и стал растираться сухим полотенцем. Потом накинул халат и прошел к себе, надел свежую рубашку, достал из чемодана постельное белье и застлал им маленький диванчик, стоящий в углу гардеробной. Никто не знает, когда еще наша милая дирекция удосужится предоставить мне номер в гостинице, так что, пока суд да дело, я смогу отлично выспаться и здесь. Покончив с постелью, я сел на стул и посидел немножко, просто так. Ничего не делал, сидел просто так, и когда сидел, прекрасно понимал,

что это я не отдыхаю, нет, просто я оттягиваю все, что должно случиться. А это уже не дело. Мало я получал оплеух, что ли? И мнимых и самых настоящих? Мне не пристало увертываться. Я вышел в коридор, снова спустился вниз и, пройдя мимо инспекторской, через зрительское фойе, вошел в буфет.

4

Здесь было пусто и тихо, несколько официантов, негромко переговариваясь, убирали посуду и снимали скатерти. Тая стояла на своем месте и наливала какому-то парню шипящую воду из бутылки. Когда я подошел, она несколько секунд смотрела на меня, словно не узнавая, и вода пролилась мимо стакана. Розовая и шипящая, она растекалась по светлому мрамору. Я постоял так, ничего не говоря, потом взял бутылку из Тайных рук и поставил ее. Она нахмурила брови и, пристально глядя на меня, сказала каким-то странным и недоверчивым голосом:

— Почему синий?

Я сказал:

— А что? Разве некрасиво?

Она все еще смотрела на меня недоверчиво и словно изучая, словно ища каких-то особых примет, некогда бывших и известных ей одной.

И непонятно мне было, как она меня встречает, похоже, что совсем отвыкла, стоит чужая и прохладно вежливая, только интересуется, что с человеком сделалось, почему лицо у него не

такое, как у всех, а голубое, изрытое, в пятнах. Она сказала, словно раздумывая, автоматически вытирая лужицу на мраморе своими расторопными руками:

— Почему некрасиво? Не знаю. Необыкновенно как-то, было лицо, а вдруг вот так. — Она наклонилась ко мне через прилавок: — Думаешь, сюрприз сделал? Как бы не так. Уже сообщили. Я давно тебя поджидаю.

Я сказал:

— Кто сообщил?

— Беспроволочный телеграф. Дружки твои, товарищи. Так что вот: я уже давно жду.

Она показала глазами на мое лицо:

— Как это получилось?

Я сказал:

— Развел фосфору для хлопушек. В кружке. Чересчур круто замесил, а в комнате жарко. Тесто-то и высохло. А в нем ложечка торчит, которой замешивал. Хозяйкин мальчик, пять лет, подходит и к ложечке тянется. Я его оттолкнул и инстинктивно сам за ложечку эту схватился. Ну все в дыму, ночь в Крыму, ничего не видно. Хорошо, что глаза не выжгло. Тебе нравится? Волнующий рассказ?

Она откинулась назад. Это правда, довольно верно подметил гражданин оберман там, в ду-

ше, — красивая она, статная, спину держит, как королева, и бровь какая надменная, и улыбка повелительная, да, надо признать — есть в ней, что там говорить, есть.

Она сказала:

— Даже не поздоровались…

— Не важно, — сказал я, — хорошо, что увиделись.

— Два года прошло, — сказала она, — интересно как все на земле, два уже года… Большой срок. — Она поглядела куда-то вдаль и бросила: — Вы в Ташкенте долго как сидели. Что так? Там, говорят, девушки интересные…

— И в Свердловске тоже интересные, — сказал я, — и в Вологде.

— Нет, в Ташкенте всех лучше, — упрямо сказала она, — там наездницы красивые…

И она снова приблизила ко мне свои глаза. В них кипела злость, как лава в кратере вулкана. Брови у нее сошлись на переносице.

Я улыбнулся.

— В Риге, вот где девушки, — сказал я миролюбиво. — Ну да и в Таллине тоже.

Она ничего не ответила мне и отвернулась. С другой стороны к буфету подходил Лыбарзин. Я стал к нему спиной и, отступив на шаг, спрятался

за кофейным аппаратом.

Он весело сказал:

— Дайте, пожалуйста, сигарет с фильтром.

Я не оборачивался. Тая прошла мимо меня и взяла со стеклянной полочки пачку. Когда она вернулась на место, я услышал, как Лыбарзин тихим, заговорщицким голосом произнес:

— Как уберетесь, я провожу вас. Разрешите?

Она промолчала. Он еще более понизил голос:

— Может быть, зайдем куда-нибудь? Посидим часок где-нибудь в тепле и уюте. Разопьем бутылочку твиши…

— Что вы, — сказала Тая, — я не пью.

— Ну какое же это питье! — проворковал кавалер. — Просто отдохнем: сидишь, котлетку по-киевски жуешь, оркестр стиляжку дует, разве плохо?

— ЗдорОво, — сказал я, — как будто знакомый голос?

Лыбарзин узнал меня и заморгал глазами.

— Здравствуйте, — сказал он растерянно, — вы уже приехали?

— Нет еще, — сказал я, — это я тебе снюсь.

Он улыбнулся и затоптался на месте. Он не знал, что делать дальше. Я мешал ему, ему хотелось договориться с Таей, а тут свидетель, третий

лишний, а Тая смотрит на нас независимо, со спокойным любопытством, кто знает, что она хочет сказать. Он переминался с ноги на ногу, и на него просто жалко было смотреть, неловко как-то. Но я вовсе не собирался помогать ему. Меня раздражал ее вид, будто она хотела сказать: «А что? А почему бы и нет? А тебе какое дело? Захочу и пойду с ним в ресторанчик кушать котлетку, ты мне не указ».

Меня от этого тошнило. И в эту минуту я твердо решил: пусть между нами все пошло к черту, мы все равно разойдемся, не прощу голубую «Волгу», никогда, но уж Лыбарзина-то между нами не будет, не из той он колоды, пусть кто угодно, но Лыбарзина не пущу в свою судьбу, не могу видеть подкрашенные бровки, потные руки, платочек на шейке, томные эти улыбочки. Если эта дура сама не понимает, я ей покажу сейчас. Держитесь, Крашеные Бровки!

Я сказал:

— Ты что как быстро укатил тогда?

— Вызвали, — сказал он с достоинством, — в Пензу, для укрепления программы.

— А читал, — сказал я, — статья в «Пензенском рабочем». Что это они так на тебя навалились? Может, ты и вправду частенько сыплешь, но за

что же в безвкусице обвинять? «Пошлая манера», «заигрывание с публикой»? Это слишком!

Он покраснел.

— Враги у всех есть, дядя Коля, — он скорбно поджал губки.

Ах вот что, ты пострадал, значит, от тайных интриг своих коварных соперников.

— Козни, знаете, зависть…

— Да, конечно, — сказал я, — все-таки ты чересчур поспешно уехал… Проститься надо было.

— Спешка, дядя Коля, реклама, реквизит, билеты, все один, дядя Коля, все сам, знаете наши порядки.

— Ну, все-таки хорошо, что встретились, — сказал я добродушно.

Он подумал, что пронесло, и засуетился.

— Конечно, хорошо, все-таки старые товарищи. Таисия Михайловна, нет ли у вас винца хоть какого-нибудь? Мы бы выпили со свиданьицем/

Но нет, не пронесло. Он ошибался.

— Не надо вина, — сказал я, — денег нет.

— Запрещено, — сказала Тая, — давно не торгуем.

Я сказал:

— Нет, Лыбарзин, нет, нет. Денег нету.

Он сказал с широким жестом:

— А у меня есть. Я заплачу…

Я сказал:

— Нет, так не пойдет. Я сам за себя всегда плачу. Но раз у тебя есть деньги, отдай мне сто рублей, что брал в Ташкенте.

Это было хуже, чем нокаут. Я даже пожалел его, ни к чему это было, не в моем характере, это во мне тот, другой нокаут работал, который я получил в душе. Лыбарзин сказал упавшим голосом;

— В получку отдам, дядя Коля, ладно? Сейчас у меня нету такой суммы…

Тая стояла с каменным лицом. Она и бровью не повела. Так, только глянула на меня мельком. А я успел увидеть, что там, на дне ее глаз, где раньше клокотала лава, теперь прыгает смех. Она опустила ресницы.

Я сказал:

— Жаль. Ну, на нет и суда нет. До получки я, конечно, дотяну, не помру с голода. А выпить для встречи надо бы. Коньяку, что ли… Налей-ка, Тая.

Она испуганно посмотрела на меня и хотела было сказать, что нету, запрещено и еще что-нибудь, но я смотрел на нее строго, прямо в глаза, и она вдруг поняла что-то, и, смутилась, и наклонилась куда-то под стойку, и достала бутылку

армянского «три звездочки», единственного, который я пью, и налила две рюмки.

Я сказал:

— И себе, Тая, налей. В честь моего приезда. Ничего.

Она не ответила ни слова. Взяла маленькую и налила себе.

Лыбарзин обиженно надул губки:

— Ну как же это, Таисия Михайловна? Ведь я же просил, а вы отказали. Запрещено!.. Для меня запрещено, а для Николая Иваныча…

Тая сказала ему ласково и увещевательно, как маленькому:

— Нельзя вам равняться…

У него разбежались глаза. Я такого никогда не видел. Один зрачок в левом углу глаза, а другой — в правом. Феерия-пантомима.

Он пробормотал:

— Не буду я пить.

Но я сделал вид, что не расслышал.

— Ну, — сказал я, — за здоровье Таисьи Михайловны! — И выпил.

Сразу за мной выпила и Тая. Лыбарзин выпил третьим. Тая нарезала ломтиками крупное желтое яблоко.

Издали кто-то махнул мне рукой. Это был Па-

наргин, помощник Вани Русакова. Высокий и медлительный, он подошел ко мне и быстро сунул для рукопожатия шершавую руку. Небрежно кивнул Лыбарзину. Тае отдельно. Лицо у него было в крупных, сползающих книзу морщинах, выражение глаз, красных и воспаленных, тревожное.

— Выпьешь? — сказал я.

— Не до того, — прогудел Панаргин, и так как мне было хорошо известно, что ему всегда было именно до того, я спросил его:

— Что с тобой?

— Плохие дела, брат, — сказал Панаргин мрачно.

— Говори скорей.

— Лялька болеет, а Русакова нет.

— Где же он?

— Завтра объявится. Черт его дернул лететь самолетом. Теперь припухает в Целиноградe. У них там не взлетная погода…

— Что с Лялькой?

— Болеет, ну… не знаю… Вид плохой, стонет. Пойдем посмотрим!

Я сказал:

— Пошли.

— Будь друг, — обрадовался Панаргин, — сделай

милость. Ум хорошо, а два — сам знаешь. Стонет, не ест, беда на мою голову.

— Бежим, — сказал я, выгрызая зернышки из яблока. — Тая, заверни мне булочек десяток.

Она кивнула.

— Я не за себя, — сказал Панаргин, — ты не думай. Ляльку жалко. Ведь это какая артистка! Безотказная. Разве она слон? Золото она, а не слон! Лучше любого человека.

— Не канючь, — сказал я. — Сейчас поглядим. Пойдем. — Я обернулся к Тае. Она протянула мне пакет. Там лежали плюшки. — За мной, — сказал я Тае, — ладно?

— Не беспокойся, — сказала она.

Лыбарзин делал вид, что плохо понимает, о чем мы говорим с Панаргиным. Ему не хотелось идти с нами и возиться с какой-то больной слонихой. У него, вероятно, были кое-какие денежки в кармане, и он томился возле Таи. В нем еще жила надежда на бутылочку твиши, на тепло, и на уют, и на оркестр, который «дует стиляжку».

Я сказал:

— Я сегодня у тебя ночую, Тая.

И пошел на конюшню.

5

Да, конечно, слониха была больна, Панаргин не ошибся. Она стояла в дальнем углу конюшни, недалеко от дежурной лампочки, прикованная тяжелой цепью к чугунной тумбе, глаза ее были печально прикрыты, длинный безжизненный хобот уныло опущен до самого пола. Она была похожа на огромный серый холм, покрытый редкими травинками волос, на африканскую хижину, стоящую на четырех безобразных подпорках-столбах. Тяжелая ее голова и огромные уши, похожие на шевелящиеся пальмовые листья, несоразмерно маленький хвост, складки грубой шершавой и на ощупь сухой кожи — все это выглядело усталым, обвислым и хворым. Я подошел к ней спереди, прямо со лба, держа в руке открытый пакет со свежими булочками, и протянул его ей. Я был рад ее видеть. Я сказал ей негромко:

— Лялька.

Она чуть шевельнула ушами и медленно переступила передними ногами, потом открыла свой человеческий, грустный глаз. Давненько мы

не виделись с ней, давненько, что и говорить, и вполне можно было позабыть меня, выкинуть из головы и сердца, но тогда, когда мы виделись, мы крепко дружили, встречались каждый день, и сейчас Лялька меня узнала мгновенно. Я это увидел в ее глазах. Она не стала приплясывать от радости и трубить «ура» во весь свой мощный хобот, видно, ей не до того было, сил было мало. Просто по глазам ее я увидел, что она меня узнала, и глаза ее пожаловались мне, они искали сочувствия у старого друга. Она два раза похлопала ресницами и покачала головой, словно сказала: «Вот как привелось свидеться… Скверные, брат, дела».

И все-таки она сделала над собой усилие и, немного приподняв хобот, тихонько и длительно дунула мне в лицо.

— Узнала, — сказал Панаргин голосом, полным нежности. — Ну что за животное такое, девочка ты моя…

— Да, — сказал я, — узнала, милая.

И я вынул из пакета плюшку и протянул ее Ляльке.

— Лялька, — сказал я, — Лялька, на булку.

Она снова подняла свой слабый хобот. Дыхание у нее было горячее. Я держал сладкую

пахучую булку на раскрытой ладони. Но Лялька нерешительно посопела и отказалась. Хобот ее равнодушно, немощно и на этот раз окончательно повис над полом. Я прислонил пакет с булками к тумбе.

— Что такое, — сказал я, — еду не берет. Температура, по-моему.

— Ну, да, — сказал Панаргин, — простыла, наверно. Здесь сквозняки, черти бы их побрали, устроили ход на задний двор, а дверь не затворяют, дует прямо по ногам, ее и прохватило. Она же хрупкая. Не понимают, думают, раз слон, так он вроде паровоза, все нипочем, и дождь и ветер, а она хрупкая.

— Кашляет?

— Да нет, не слышно, а дышит трудно.

— И давно она так?

— Да с утра. И завтракала лениво. Я обратил внимание — плохо ест.

Я зашел сбоку и стал обходить Ляльку постепенно, вдоль туловища, и прикладывал ухо к наморщенной и шуршащей Лялькиной коже. Где-то, далеко внутри, как будто за стеной соседней комнаты, мне услышались низкие однообразные звуки, словно кто-то от нечего делать водил смычком по басовой струне контрабаса.

— Бронхит, по-моему, — сказал я.

— Только бы не воспаление легких, боже упаси.

— По-моему, надо кальцекса ей дать.

— Ей встряска нужна и согреть надо, что ей кальцекс, вот уж верно, как говорится, слону дробинка…

Вот так стоять и канючить он мог бы еще до утра, потому что Иван Русаков привык до всего добираться собственными руками, и глаз у него был острый, хозяйский, но его помощники были людьми нерешительными, несамостоятельными, — воспитал на свою голову. А теперь вот слонихе худо, а этот долговязый бедолага маялся и робел, как мальчишка.

— Тащи ведро, — сказал я твердо и повелительно, — и посылай за красным вином, не найдут — пусть возьмут портвейну бутылки четыре. Водки вели принести.

— Во-во! И сахарку кило три! Сейчас, сейчас мы ее вылечим. Не может быть — вылечим!

Он очень обрадовался тому, что кто-то взял на себя обязанности решать и командовать, ему теперь нужно было только подчиняться и возможно лучше исполнить распоряжение. Это было ему по душе. Он сразу почувствовал уверенность

и выказал рвение.

— Генка! — крикнул Панаргин, и сейчас же перед ним вырос ушастый униформист:

— Что, дядя Толик?

Панаргин быстро сунул ему несколько мятых бумажек.

— Беги в гастроном, возьми четыре бутылки красного или портвейну и водки захвати поллитра. Да единым духом, пока не закрыли!

— Банкетик! — сказал Генка сочувственно. — Беленького, пожалуй, маловато… А чем закусывать будете?

— Я тебе дам банкетик, — сказал Панаргин и несильно стукнул Генку по затылку. — Своих не узнаешь, беги мигом, тебе говорят. Пять минут на все дело! Ну!

Генка убежал, а я взял ведро со стены и сказал Панаргину:

— Сходи, брат, в аптечку, и что есть кальцексу и аспирину — тащи сюда. Хуже не будет. Экспериментальная медицина.

Он зашагал наверх, его циркульные ноги перемахивали через четыре ступеньки сразу. А я подхватил ведро, и прошел в туалетную, и нацедил горячей воды, так, чуть поменьше половины. Когда я вернулся к Ляльке, она приветственно

шевельнула хоботом, и, честное слово, она выглядела куда веселее, чем раньше. В ее глазах была надежда и вера. Верно, я серьезно говорю, в Лялькиных глазах сверкнула вера в человека, в дружбу, она поняла, что еще не все потеряно, раз вокруг нее бегают и хлопочут люди. Я поставил ведро на пол и стал поджидать Генку и Панаргина. Хотелось мне помочь этой слонихе, очень хотелось. Я стоял так в полутемной и холодной конюшне, и думал об этой больной артистке, и вспомнил, как однажды во Львове Ваня Русаков репетировал со своими животными. Я сидел тогда в партере и смотрел его работу. Это было после какого-то длительного и хлопотного переезда, и животные нервничали. Но Русаков был человек железный, не давал никогда поблажки ни себе, ни животным, и поэтому сейчас на репетиции было много щелчков бича и всяческих нудных повторений, и понуканий, и принуждений. Была возня с реквизитом и со светом, под конец Русаков совсем охрип, и тут ему вывели медведя Остапа. Русаков стал репетировать с ним вальс, но у Остапа было нетанцевальное настроение, не до вальса ему было, и весь вид его был какой-то взъерошенный и озлобленный, он так и нарывался на скандал и в конце концов получил-таки

по носу, но не смолчал, а быстро и ловко рванул Русакова за руку между большим и указательным пальцами, и кровь закапала дробными каплями. Собаки тут же кинулись на Остапа, но Русаков остановил их повелительным окриком, и Панаргин с рабочим загнали медведя в клетку. Русаков сел тогда со мной рядом, а молоденькая сестричка натуго перебинтовала ему порванную руку. Когда она ушла, Русаков посмотрел на меня и сказал с виноватой улыбкой:

— Можешь себе представить, Коля? Я устал.

Он сидел, откинув голову и закрыв глаза, строгий и подобранный, похожий на утомленного учителя средней школы. Черный костюм, белый воротничок и галстук особенно подчеркивали это сходство. Он откинул голову назад, стали видны капли тяжелого пота, они обсыпали его надбровья. Он сидел так молча уже несколько секунд, и я подумал, что он задремал, но он вдруг открыл совершенно ясные и трезвые глаза. Он сказал негромко:

— Главное — перевести дух. — И крикнул резко и звонко: — Ляльку!

И вот тут-то я увидел чудо.

Лялька вышла в манеж весело и охотно, даже торопясь, во всяком случае походка, ритм всех

четырех ее движущихся ног напоминал пусть мешкотную, чуть-чуть неуклюжую, но все-таки резвую рысь. Добравшись до середины манежа, слониха остановилась и стала весело раскланиваться, приподняв хобот и улыбаясь своим треугольным войлочным ртом. Она поклонилась центральному входу с повисшей над ним площадкой оркестра, потом повернулась налево и, не переставая улыбаться, поклонилась левому сектору и, наконец, проделала то же самое, повернувшись направо. Я сначала думал, что это она так дурачится от нечего делать и что это еще не работа, но Русаков толкнул меня локтем и сказал:

— Смотри, смотри, что будет!

Его нельзя было узнать, он оживился, подался вперед, глаза его блестели, и усталость как будто исчезла с его худого лица.

А между тем Лялька, не обращая на нас никакого внимания, подняла свою толстенную ногу — сначала одну, а затем и другую, — поставила их обе на стоявшую в манеже деревянную тумбу. Потом очень спокойно и деловито, сосредоточенно посапывая, она взобралась на эту, такую крохотную по сравнению с ней самой площадку всеми четырьмя ногами. Здесь она аккуратно и

педантично, одну за другой, проделала «стойку на трех точках», «на двух» и, наконец, рекордный трюк — «стойку на одной точке». После каждого трюка она приветливо трясла головой, кланялась, значит, как говорят в цирке, «продавала работу», и веселая, обаятельная улыбка все время не сходила с ее, так сказать, уст! Было удивительно видеть эти тонны мяса, мускулов и кожи в таких неестественных положениях, и особенно были странными моменты перехода с одного трюка на другой, когда она искала баланс и так безошибочно переносила центр тяжести своего огромного тела с одной ноги на другую. Поработав на тумбе, Лялька сошла наземь и пошла по первой пИсте манежа. Изящная в своей чудовищной громоздкости, она вдруг начала вертеться вокруг собственной оси. Это был вальс, чугунный слоновый вальс, грациозно отплясываемый громадным серым чудовищем. Мне казалось, что слониха напевает про себя бессмертную мелодию Штрауса, так легко и непринужденно она сама, без указаний дрессировщика, повторяла всю программу своего вечернего выступления. В цирке было тихо, униформисты застыли в форганге, свободные артисты набились в боковые проходы, контролеры и служащие, электрики и уборщицы,

гримеры и пожарники — все, затаив дыхание, следили за веселой добродушной и добросовестной слонихой, так прилежно исполняющей на репетиции свой артистический долг.

Вдоволь повальсировав, Лялька три раза встала на «оф», то есть поднялась на свои стройные задние ноги в знак финального приветствия зрителям, и как будто неуклюже, но в сущности очень ловко развернувшись, двинулась на конюшню, всей своей мешковатой рысью изображая отчаянную спешку, цирковой темп, блеск, подъем и кураж. Это была великая артистка цирка, я проникся к ней любовью и уважением, и мы познакомились и подружились с ней. А сейчас я стоял в полутемной холодной конюшне подле моего больного друга и всем сердцем хотел ей помочь. Я постоял с ней еще минуты три, потом прибежал Генка и поставил передо мной, прямо на пол, несколько бутылок вина. Я открыл их и стал вливать в ведро. Вино смешивалось с горячей водой, пар поднимался кверху. Слониха почуяла этот запах и издалека протянула хобот к ведру. Сверху спустился Панаргин, он всыпал в ведро большую банку сахарного песку и из пригоршни прибавил таблеток тридцать кальцекса.

Я размешал все это гладкой палочкой, которую

протянул мне Генка, и долил водки. Слониха все еще тянулась к ведру, я подошел к ней, поставил ведро, и она стала пить.

— Здоровье прекрасных дам! — сказал Генка.

— Поможет, как думаешь? — спросил Панаргин. Его грызла тревога, он не мог сдержать себя. — Вот если бы помогло…

— Должно помочь, — сказал я. — Тебе бы помогло? Вот и ей поможет. Она не хуже тебя.

Слониха допила все до конца и благодарно закрыла глаза.

— Она лучше него, — сказал Генка, — сравнения нет, насколько она лучше. Вот глаза закрыла, благодарность, значит, имеет. А этот? Я ему вчера три клетки распозагаженные вычистил, а кто видал пол-литра? Вы, дядя Коля, видели?

— Нет, — сказал я, — я не видел.

— И я тоже не видел, — сказал Генка, — они все ловчат, чтоб попользоваться, скряги эти цирковые, полуначальники, а я не обязан задыхаться в медвежьем дерьме, мое дело — манеж…

— Настырный ты очень, — сказал Панаргин глухо, — скромности в тебе нет. Тут, видишь, какое несчастье, а он склоки свои затевает.

Я сказал:

— Ему полагается. Сам как сумеешь, а рабочему

отдай. Давайте тащите сена сюда, да побольше.

— Будьсделано, — сказал Генка и обернулся к Панаргину: — Пошли, что ли. А пол-литра чтобы завтра мне предоставить после вечернего представления. Даешь клятву?

— Ладно, — сказал Панаргин. — Ты у кого хочешь выцыганишь. Ладно, завтра расчет.

— При свидетелях, — сказал Генка, — вот они, свидетели, — дядя Коля и Лялька! Обмани попробуй!

Панаргин скрылся, пошел за сеном. Генка двинулся за ним. Я придержал его за плечо.

— Она теперь поспит. Слышишь? Ей надо укрыться потеплее, потому сена тащи, чтобы его по грудь ей было. Понял?

Слониха стояла и шамкала старушечьим ртом.

— Конечно, понял, дядя Коля, — сказал Генка. — Неужели же нет?

— Ну, — сказал я и дал ему немного денег, — перебьешься как-нибудь?

— Ни за что не возьму, что вы, дядя Коля! — Генка стал отпихивать мою руку, его косые уши стали еще косее, видно, он не на шутку смутился.

— Слушай, — сказал я, — у меня много, понимаешь? Получка, суточные, гостиничные, целый карман. А у тебя, видно, туго. Возьми, будут — от-

дашь. И не валяй барышню, я сегодня злой…

Он взял.

— Спасибо, — сказал он, отвернувшись, — а то весь прохарчился…

Из-за угла вышел Борис, за ним, конечно, следовал Жек.

— Вот он где, — сказал Борис, — а мы, как дураки, дежурим у буфета.

— А буфет закрыт, — добавил Жек, — и все буквально разошлись… Куда столько сена? — спросил он у Панаргина. Тот волочил на своей спине целую горку.

— Куда надо, — сказал я.

Панаргин сбросил сено у Лялькиных ног и стал его разбрасывать равномерными охапками. Видно было и Генку, он тащил поменьше, но зато бегом. Я вынул булочки из пакета и положил их на пол возле ног слонихи.

— Последишь, Генка, — сказал я. — Ладно? Главное теперь — тепло.

— Без него найдется кому последить, — сказал Панаргин ворчливо, только и света в окошке, что профессор Гена…

Я стал набрасывать Ляльке на спину сено и увидел, что ей хочется спать. Медленно и тяжело согнула она ноги и, убедившись, что на полу

мягко и ей будет удобно, повалилась на бок. Мы стали укрывать ее сеном.

— И попону можно, — сказал Борис, — делу не помешает.

Он обратился ко мне.

— Вот что, — сказал он, присев на корточки и тоже засыпая Ляльку сеном, — было совещание по случаю приезда знаменитого артиста на гастроли. Поступили разные предложения, но остановились вот на чем. Тут недалеко открылся ресторан, современная обстановка, первоклассная кухня. Так что можно организовать роскошный банкет на три персоны. В смысле поужинать. Ко мне, понимаешь, нельзя, поздно, всех перебуторим.

Он погладил Ляльку.

— Это мы тебя после в семейном кругу как следует почествуем, — добавил Борис, — а сейчас пойдем поедим, поговорим, мальчишеская встреча… Как? Или у тебя какие-нибудь личные дела? Интимные встречи? А?

— Вполне возможно, — сказал Жек, — он что, рыжий, что ли?

— Пошли, — сказал я.

6

Это был красивый небольшой зал, обставленный в так называемом современном стиле, с креслами в виде ракушек, маленькими кривыми столиками на распяленных ножках, с пупырчатыми холодными стенами, как будто забросанными шлепками застывшего бетона, с неожиданно косо срезанными по фаске зеркалами, с мягко притушенным светом, с большим количеством пластика, хлорвинила и всех этих самоновейших материалов, употребленных и примененных здесь очень дельно и красиво.

Нас, конечно, сначала не хотели пускать, на дверях красовалось веселенькое: «Мест нет», но у Жека и здесь был знакомый. Гардеробщик. Жек его вызвал к двери, тот пришел и, увидев Жека, расплылся в большой и доброй улыбке, и нас с почетом пропустили, раздели, и гардеробщик проводил нас в зал, давая на ходу объяснения и сопровождая их широкими княжескими жестами.

Мы прошли мимо бара, потом свернули в какой-то коридор, миновали бильярдную, и, наконец, наш седоусый друг и покровитель сдал

нас роскошно одетому метрдотелю. Метр провел нас к столику неподалеку от буфета и оказал нам уважение, поманив царственным пальцем молодую девушку в белой наколке.

— Обслужите, — сказал он руководящим голосом и, коротко поклонившись, покинул нас.

Народу действительно было много, все нещадно курили, и было здорово шумно и как-то колготно. Я никогда бы не подумал, что столько людей в этот вечер решили поужинать в ресторане, но, в общем, я был рад: со мной пришли мои товарищи, и я в Москве, и все прекрасно или могло бы быть совершенно прекрасно. Девушка в наколке держала в руке блокнот и нетерпеливо постукивала по переплету карандашиком.

Самый наш главный дамский угодник Жек обратил к ней свой доброжелательный взгляд и заказал еду. Она, конечно, не очень обрадовалась, что мы не спросили спиртного, но виду не показала и ушла.

Я огляделся. Стены ресторана были украшены разными картинками и надписями, их было немного, но они привлекали всеобщее внимание.

— Вот, — сказал Жек, — видишь, на стенах картинки и надписи. Это какие-то новости…

— Ерунда, — сказал Борис, — пройденный этап. Было, брат. Уже было.

— Художники какие-то чересчур левые, — сказал Жек, — это что, они и есть, абстракционисты эти самые?

— Не смеши народ, — ответил Борис.

Мы принялись рассматривать нарисованную прямо на стене девушку с восьмиугольными грудями.

Невдалеке висел прикнопленный рентгеновский снимок с краба. Под ним белел аккуратненький плакатик:

ПЕТЬ ВОСПРЕЩАЕТСЯ!

Жек прочитал эту надпись вслух. Борис искренне рассмеялся.

— Значит, все-таки поют, — сказал он, явно симпатизируя незнакомым певцам, — раз воспрещается, значит, были случаи…

Да, не здесь надо было сидеть мне в этот вечер, совсем не здесь. Сердце мое томилось, разговор в душе жалил его нещадно, я даже не думал, что настолько это будет едко, но все-таки хотелось затянуть и насколько только можно отсрочить разговор с Таей, последний разговор, который разъединит нас уже навсегда. И потому я терпел,

спокойно дожидался ужина, сидел себе в уголке этого занятного ресторана, сидел с друзьями, и вокруг было накурено и шумно, и что-то такое особенное носилось в воздухе, какой-то общий дух, дух дружелюбия, и совсем не было похоже на ресторан. Люди переходили от столика к столику со своими рюмками или стаканами, подсаживались друг к другу без особых книксенов и вступали в любую беседу с ходу, как будто давно уже знали, о чем идет спор. Столики стояли тесно, были слышны разговоры соседей, так же как соседи слышали наши. Рядом с нами сидел какой-то очень худой и сморщенный человек. Он дремал, склонив лысеющую голову. Лысел он странно — небольшими зонами, у него не было сколько-нибудь большой, заметной плеши, просто было похоже, как будто кто-то выдрал множество клоков из его прически. Он дремал среди смеха, шума и дыма, а за его столиком сидели какие-то люди, видимо, его друзья. Иногда он просыпался, и тогда его друзья наливали ему коньяку, он брал рюмку длинными и зыбкими пальцами и выпивал. Глаза его раскрывались, в них появлялось какое-то старинное и тонкое, мудрое озорство, и человек этот ни с того ни с сего вдруг произносил:

— А знаете, что такое вопросительный знак?

Все кругом затихали.

— Нет, не знаем… Ну… Ну… Скажи…

Люди ерзали от нетерпения и смотрели прорицательно в рот.

— Вопросительный знак — это состарившийся восклицательный, — негромко говорил человек.

Поднимался оглушительный хохот, все качали головами, жмурили глаза от удовольствия, как утонченные гастрономы, отведавшие диковинного, острого и пряного блюда. Не услышавшие остроты переспрашивали у слышавших, те пересказывали, вопрошавшие снова смеялись, жмурили глаза и качали головами и передавали дальше, и так, скачками, смех и восхищение докатывались до стойки. А виновник этой кутерьмы уже снова дремал над недопитой рюмкой, чтобы через несколько минут ошарашить товарищей новой шуткой.

— Это знаменитый человек, редкий, — сказал Жек, — душа-человек, а талантище, брат, мирового класса.

И Жек назвал мне фамилию этого человека. Я, когда услышал эту фамилию, просто вздрогнул от неожиданности. Да ведь я же его знаю! Да ведь мы с ним знакомы! Это было в войну. Мы прие-

хали с фронтовой бригадой, солдаты расселись на пригорке, до нас, до цирковых, должен был выступать поэт, он вышел, встал перед сидящими и стал читать, слегка картавя, и это были настоящие стихи, и солдаты это мгновенно поняли и насторожились всей душой. Но в это время откуда ни возьмись налетели фрицы, и они стали стрелять, и многие тогда убежали в убежище, но некоторые остались, и поэт тоже остался, он читал стихи слабым и вдохновенным голосом, и это было высокое мгновение, он дочитал под обстрелом свои стихи, и мы пошли в блиндаж, а когда спускались, он положил мне на плечо свою легкую руку и сказал: «Мальчик мой, я теперь убедился, что в этом стихотворении есть некоторые длинноты…»

Он был истинно храбрым человеком, и я тогда достал его книжки и выучил множество стихов наизусть, это были удивительные стихи, особенные, ни на кого не похожие, грустные, иронические и обладающие непонятной пронзительной силой. А теперь вот он сидит за соседним столиком, сам похожий на состарившийся восклицательный знак, и какой добрый у него и усталый взгляд. И мне захотелось подойти к нему, напомнить о том стихе на ветру под обстрелом,

пожать его легкую руку и близко заглянуть в глаза, но мне показалось, что это неловко будет, и я не подошел, постеснялся.

Ужин был совсем неплохой, а улыбчивая подавальщица, видимо, учитывая, что нас в зал привел сам метр, отлично, проворно и любезно обслуживала нас. Жек изо всех сил строил ей томные глаза и попридержал ее руку, когда она меняла тарелку.

— Как вас зовут?

— А разве это обязательно?

— Повешусь, — сказал Жек.

— Таней. Только не вешайтесь.

Жек сказал:

— Молодец, Танечка. Мы вам благодарность запишем.

Она отошла, смеясь.

С каждой минутой в зале становилось все оживленней.

— Ну, а кого вы поставите кончать второе отделение? — спросил я у Бориса.

— Раскатовых, — сказал Борис.

— А они когда приедут? — спросил Жек.

— Со дня на день ждем, — сказал Борис. — А что? Скучаешь?

— Ага, — сказал Жек, — скучаю, как собака по

палке. Просто интересно, что за аттракцион. У нас многие гудят: пуля, экстра-класс, мировая затея.

Борис обратился ко мне:

— Ты что-нибудь слыхал?

— Нет, Мишка Раскатов — «человек со стальными нервами», я не знаю, что он изобрел, он, безусловно, может, но у него где-то в душе сидит дешевка…

— Пижон и стиляга, — сказал Жек, — черный костюм, кольцо, трость Европа, шик, блеск, «джентильмен» — белая астра, белые гетры.

— Меня от всего этого тошнит, — сказал Борис, — но все-таки он артист.

— В чем хоть номер-то? Смысл в чем? — сказал я.

— Полет под куполом цирка. Его партнерша исполняет смертельный трюк. Она, конечно, подстрахована, в ногах у нее штрабаты, — новейшие резиновые амортизаторы, и когда она исполнит трюк вверху и полетит вниз, ее эти штрабаты поддержат, и все будет великолепно. Но расчет на то, что публика может подумать: конец. Смерть на манеже. При мне. Я вижу смерть. Нервных будут выносить.

— Ты про продажу скажи, про самый выход, — подсказал Жек.

— Да, — сказал Борис, — там еще всякое накручено. Будто она не хочет выходить, а он ее заставляет. Потом она не решается на трюк, но снизу раздается голос повелителя, загадочные отношения и тому подобная мура… Не знаю, может быть, врут, сам не видел.

— Все-таки одна тысяча девятьсот тринадцатый год, — сказал я, — разит писсуаром и одеколоном.

— Погоди ругать, — сказал Борис, — дождемся, посмотрим, тогда и суди!

— Это верно, — сказал я, — а то чего не наговорят. Ну хорошо, Раскатов, значит, — изобретатель трюка, автор, и постановщик, и конструктор. Сам, конечно, не летает, ну, а исполнительница? Кто такая? Откуда взялась?

— Жена его, — сказал Жек.

— Новая? Опять? А где же он ее разыскал?

— На Волге. Совсем, говорят, девочка была. Училась у него. Там из молодежи студия была на общественных началах, он стал с ней заниматься, а она очень способная. А дело он все-таки знает, вот он, пожалуйте, сделал из нее классную артистку, а потом посмотрел на создание рук своих и влюбился, а влюбился — женился. И конечно, сразу вдохновился и взялся создавать

аттракцион.

К нам за стол уселась новопришедшая компания. Их было трое, мы потеснились и кое-как расселись.

Один из них был совершенно лысый, крутогрудый и высоченный, с маленькими зоркими глазами в красных прожилочках. Он волочил правую ногу, и в руках его была толстая палка с кривой ручкой. Когда он опирался на эту палку, она слегка прогибалась, видно, сила в нем сидела богатырская.

Он был изысканно одет и напоминал мне удачливого атамана из окружения Стеньки Разина. Я никогда не видел не только удачливых, но и атаманов вообще. Но что это был разбойник — это точно. Он все время покашливал и вертел шеей. Он совершенно не обращал внимания на окружавшую его сутолоку и тем более на людей. Он был занят. Он держал в орбите внимания высокую, со смоляными волосами, очень молодую и красивую женщину, пришедшую с ним.

Она была ему, что называется, под пару. В общем, в песнях про такую поют, что она разлучница, змея подколодная или еще чего похуже. Она курила сигарету, и на указательном пальце ее правой руки синело большое чернильное пят-

но, золотистые ее глаза затуманились, и видно, видно было, что она безумно влюблена в своего атамана и он в нее влюблен, а там — будь что будет. И я знал, что никакой он не атаман, а скорей всего начальник конструкторского бюро, а она, возможно, заведующая керамическим цехом или старший библиотекарь, но я все равно называл их атаманом и разлучницей, и тяжелая зависть ударила мне в сердце, когда я увидел этих контуженных любовью людей.

Третий из этой компании, невысокий, аккуратно причесанный брюнет, был, видимо, их ближайшим другом, добровольным опекуном и сиделкой. Он подозвал официантку и быстро и умело заказал закуску и водку. Мы с Борисом и Жеком постарались еще немного отодвинуться от них, чтоб не мешать.

Таня мигом принесла графин весьма и весьма убедительных размеров, удачливый атаман задергался и стал разливать. Самое интересное, что стопки у них были здоровенные, и что он налил всем одинаково, и разлучница, не проронившая до сих пор ни звука, хлопнула водки с таким заоблачно-мечтательным видом, что у меня запершило в горле и я закашлялся. А потом началась чистая комедия, антре, которого, впро-

чем, следовало ожидать. Опекун-и-сиделка снова подозвал официантку, она подошла, склонилась к нему, он что-то шепнул, она кивнула и через секунду поставила на стол три пустые рюмки. Теперь опекун-и-сиделка взялся за графин и налил во все рюмки. Мы оцепенели.

Опекун-и-сиделка встал и важно сказал:

— Друзья мои! Разрешите мне приветствовать вас всех за этим маленьким, объединившим нас столом. — Он повернулся к своим: — Я и вам говорю! Разрешите мне предложить дружественный тост за человека, чье искусство я очень ценю…

Атаману было на все наплевать, он смотрел на золотистоглазую, а она безмятежно пускала дым, придерживая сигарету своими пальцами прилежной школьницы. Однако опекун-и-сиделка не унимался:

— Мы выпьем, друзья, за весьма и весьма своеобразного художника, — пел он, — за артиста цирка Николая Ветрова, которого я давно ужи сумел выделить для себя из огромной массы, которая…

И так далее и так далее, он молотил языком, и я сначала даже немного смутился, но потом я понял, что все это, в общем, смешно и нисколько не обидно. И он называл меня артистом, а мог

ведь назвать циркачом; он не пододвигал ко мне широким жестом винегрет и не восклицал: «Пей, не стесняйся!» И я счел, что все это даже симпатично. Но Борис и Жек еще не поняли, куда идет дело, это были люди, которые уже наслушались в своей жизни всяких «пей, не стесняйся», их тошнило от подобных выступлений, у них были мозоли на душе от покровительствующих поклонников, поэтому Борис сказал быстрым и железным голосом:

— Нет, нет. Нам нельзя пить. Завтра утренник. Работа. Николаю Иванычу завтра работать. С утра. Благодарим вас, но нет.

— Ну да, — сказал я, — может быть, сегодня не стоит пить. Завтра воскресенье. Дети придут.

— Рассядутся горшечники, — простодушно улыбался Жек, — рассядутся горшечники в партере, — квадратно-гнездовым способом, и валяй, Коля, — он коснулся моего плеча, — валяй, дядя клоун, верти на всю катушку. Какой же утренник без клоуна?

Мне показалось, что наша соседка по столу проснулась.

— Вы клоун? — сказала она. — Я так и знала. У вас голубое лицо. У клоуна должно быть голубое лицо. Впрочем, может быть, это не у клоуна го-

лубое лицо. Может быть, у астронома. Да, скорее всего. Свет от звезд, голубое лицо астронома…

Я ничего не ответил. Бог с ней. Она видела что-то другое.

— Как вы смешно сказали, — обратился к Жеку опекун-и-сиделка, горшечники… остроумно! Это про маленьких?

— Ага. В шутку. Любя… Вот, мол, им еще на горшках сидеть, а они уже в цирк пожаловали, они, видите ли, зрители, а мы для них — давай, работай, пояснил Жек.

— Как это обидно, — сказал наш собеседник и взглянул на меня. — Ваше искусство такое тонкое… Что они в нем понимают, эти самые горшечники? Что они могут оценить? Мне кажется, я сейчас понял, почему у вас такое неудовлетворенное, горькое лицо… Дело, видимо, в том…

Я прервал его блеянье:

— У меня неудовлетворенное лицо потому, что мне все-таки хочется выпить, — сказал я. — Ничего, Борис, ночь велика, а выпьем мы чуть-чуть. За ночь все прогорит. Хочется выпить! А денек у меня сегодня больно богатый. Будем здоровы. Пей, не стесняйся!..

Я подмигнул им обоим — Борису и Жеку, — они рассмеялись, взяли рюмки, остальные трое тоже,

и мы выпили все вместе.

— А еще у меня горькое лицо потому, — сказал я, — что я не догадался дать слабительного одной приболевшей слонихе, и сижу думаю, как бы ее не заперло после красного вина. Она пять бутылок сегодня выпила. Так что вот чем объясняется выражение моего лица, ничем другим, поверьте.

Опекун-и-сиделка посмотрел на атамана, словно приглашая насладиться многозначительностью моих речей. Но тот не слушал нас, он плевать хотел на эти штучки, он смотрел на свою женщину, и больше ему ничего не надо было. Молодец он был, этот атаман, правильный мужик. А я? Какого черта я здесь торчу, ведь она меня ждет, ждет, я же знаю. Надо ехать, какого черта я здесь торчу! Но прежде всего надо сделать одно дело. Ведь я выпил водки в этой компании, выпил и не отблагодарил, так у нас не водится. Я оглянулся — Таня где-то запропастилась. Я встал и пошел к буфету. На буфете стояла большая пластмассовая собака. У нее торчали клыки. Я нажал пальцами на торчащий собакин хвост. Немедленно распахнулась красная пасть, и из нее брызнула острая струйка воды, прямо мне в лицо. Старая женщина за стойкой засмеялась. Я положил собачку в карман.

— Нельзя, — сказала старуха.

— Можно, — сказал я, — очень нужно. Для ребенка.

Я положил на стойку деньги. Старуха примолкла. Я взял бутылку и вернулся к нашему столику. Тут все развернулось довольно быстро, и я не заметил, как проглотил несколько рюмок. Коньяк был отличный, и мне казалось, что я могу выпить такого целое ведро. Но это только так казалось. На самом же деле эта чертова сила уже обожгла мою душу, разгорячила кровь и ударила в голову. Во мне, что называется, захорошело. Голова моя звенела, и мне захотелось сказать мое самое главное, и слова одно за другим полетели из моего сердца. Плохо было только то, что это были заветные слова, не слова, нет, мысли, чувства, верования мои, те, которые я никак и никогда не стал бы высказывать здесь, в этой забегаловке, перед незнакомыми людьми, да и вообще ни перед кем не осмелился бы — постеснялся бы, сдержался, но, видно, что-то надломилось во мне сегодня, там, в душевой, когда я узнал, что Тая не дождалась меня, да и не дожидалась вовсе, и что теперь хочешь не хочешь, а надо было все это кончать, рвать, пусть по живому, но рвать обязательно, чтобы не потерять уважения к себе,

своего достоинства, что ли, не люблю громких фраз, но без этого самого достоинства, или как там еще, как хотите называйте, я бы уже не смог работать свою работу, а ведь тут-то и сидит стержень, вот она самая сердцевина моей жизни. Да, видно, рассыпалась какая-то перегородка, осел бетон между мной и людьми, потому что я вдруг сказал такое, что еще совсем недавно не решился бы сказать ни одному человеку. Особенно меня раздразнил опекун-и-сиделка, и я сказал:

— Занятно все-таки, до какой степени вы ни черта не понимаете. Вот вы сказали, что утренник — тяжелая, серая и обидная работа. Ложь, чушь, чепуха — все наоборот! Все дело именно в утреннике. Пожалуй, только из-за утренника и стоит жить. Ведь на утренник приходят дети. Горшечники? Но в этом слове только нежность, только любовь, и ничего другого. У кого найдутся силы для насмешки? Послушайте. Это старое дело, да вы, видно, забыли, затерли, отпихнули от себя это. Но вы ведь путешествовали по свету? Вы были в Освенциме? Детские башмачки видели? Ну, читали в книгах, газетах, видели в кино? Почему же вы не воете? Где памятник детям жертвам войны? В Праге, в музее я видел — на жесткой бумажке детской рукой накарябаны стихи:

Мальчик посадит цветок,
Солнце взойдет.
Цветок расцветет…
Мальчика уже не будет.

В какой печи сожгли восьмилетнего поэта? Или его подбросили в воздух и ударили с лету, как консервную банку? У меня нет детей. У меня нет собственных детей. Но все дети мира — они мои. Я не знаю, что мне сделать, чтобы спасти детей. Я не могу положить их с собой всех, обнять их и закрыть своим телом. Потому что дети должны жить, они должны радоваться. У них есть враги, это чудовищно, но это так. Но у них есть и друзья, и я один из них. И я должен ежедневно доставлять радость детям. Смех — это радость. Я даю его двумя руками. Карманы моих клоунских штанов набиты смехом. Я выхожу на утренник, я иду в манеж, как идут на пост. Ни одного дня без работы для детей. Ни одного ребенка без радости, это понимаю не только я. Слушайте, люди, кто чем может — заслоняйте детей. Спешите приносить радость детям, друзья мои, спешите работать на утренниках!

Я встал. Борис и Жек поднялись вслед за мной.

7

Небо было холодное и зеленое, в него неразборчиво понатыканы были мелкие-мелкие, пронзительно блестевшие звезды. Они были отодвинуты в страшную недосягаемую даль. Только над высотным зданием висела одинокая крупная зеленая звезда, она казалась размытой и призрачной, и несмотря на то что на дворе было нехолодно, свет этой звезды заставил меня поднять воротник.

Мы вышли к площади и стали поджидать такси. Все молчали. Кровь еще кипела в моей голове, и поздние сожаления точили душу. Зря я так разгорячился, зачем, не надо было, они, наверно, сейчас смеются надо мной, только виду не показывают, не хотят обидеть. Нет, им не вера моя смешна, не суть, не основа, а просто мы, взрослые и здоровенные, и все, что было сказано, не нужно было говорить. Это все чувствуют и знают, с этим живут, каждый день носят с собой на работу, в трамвай, в магазин, и говорить об этом не надо. За коньяком, в ресторане, — ах, черт меня разорви совсем!

Жек сказал:

— Поздно уже.

— Маловато все же у нас такси… — добавил Борис.

— Особенно по ночам. Они в это время больше к вокзалам жмутся…

— Да, — сказал Жек.

Мы помолчали еще. Мимо нас промчалась машина, мне показалось, что это голубая «Волга». Потом много еще машин неслось мимо нас, и все мне казалось, что это «Волги», и все голубые. Все они мчались по направлению к цирку, туда, куда скоро поеду и я.

— Да, — сказал Жек неожиданно, как будто продолжая разговор. Он вынул сигарету, щелкнул зажигалкой и прикурил. — Да, — повторил он убежденно, хорошо ты им сказал, молодец, за дело стоишь.

Он протянул зажигалку Борису.

— Нет, напрасно, — сказал я, — зря все это.

Борис повернулся всем телом ко мне, и в свете зажигалки блеснули его удивленные глаза.

— Что ты? — сказал он горячо. — Ты что? Наоборот, не зря. Надо так говорить, а то мы забываем. Чудак… Именно что… Ведь не за зарплату же ты… И Жек вот… Да и я тоже. Все правильно, Коля…

Жек тронул меня за рукав.

— Николай Иваныч, это же вы прекрасно им врезали. А то что же — циркачи не понимают? Может быть, больше других понимают… Что вы…

Он называл меня на «вы». Они оба поняли, и они не стеснялись меня, не стыдились. Они говорят, это нужно. Я прав. Значит, больше уже не нужно ни о чем говорить. Между нами все ясно, и я могу перестать казнить себя, со мной мои товарищи. Я перевел дыхание. Из-за поворота на полной скорости подошла машина, за лобовым стеклом ее горел холодный зеленый огонек, точь-в-точь такой же крупный и призрачный, какой висел над высотным домом.

Шофер отворил дверцу. Я сел рядом с ним и стал ждать, когда усядутся мои товарищи, но вдруг увидел лицо Бориса, наклонившегося к окошку.

— Ты в цирк? — спросил он.

Я опустил стекло.

— Ну да, — сказал я, — у меня там отдельная комната.

Было видно, как он улыбнулся.

— Ну и поезжай. А мы с Жеком в другую сторону.

— Так я отвезу вас, — сказал я, — садитесь.

— Мы погуляем, — сказал Жек через плечо Бо-

риса, — воздухом подышим. А ты езжай. Завтра увидимся.

Они думали, что я спешу. Они знали — куда. И не ошиблись. Я спешил, конечно. Но ведь ни слова не было сказано. Это были мои товарищи.

Я сказал:

— Ну, до завтра.

— Привет, — сказал Борис.

Они помахали.

Я сказал шоферу:

— Самотека.

Он поддал газу.

8

Он лихо вел машину, этот таксист, лихо, виртуозно и нагло. Притормаживая перед красным зрачком светофора, он все время настойчиво лез вперед, ни на секунду не прекращая движения и выводя потихоньку машину за линию «стоп», чтобы в самый момент переключения на зеленый вырвать ее из рядов других. Он никогда не убирал правой ноги с газа, превосходно управляясь левой на двух педалях — сцепления и тормоза, и поворачивал он, почти не сбрасывая скорости, видно, совсем не думая о трущейся резине, и мчался на редких пешеходов с пугающей, неотвратимой скоростью, и было впечатление, что сейчас неминуемо произойдет катастрофа, но пешеходы, инстинктивно чуя, какая птица сидит за рулем, выпрыгивали прямо из-под колес машины. Сидя рядом с ним, я определенно чувствовал, что этот тип ни за что не раздавит человека, и не потому, что ему было бы жалко и его потом заела бы совесть. Нет, здесь был простой трезвый расчет — это ему невыгодно: из-за какого-нибудь пустячкового старичка по

нашим законам его посадят за решетку, а там, конечно, не курорт. На Гагры не похоже, он это хорошо знает на собственной шкуре, — так стоит ли рисковать своей привольной жизнью? Нет, не стоит, ребята. Колесико должно крутиться, а к нам — копеечке бежать. Ничего подобного, конечно, таксист вслух не произносил, но я знал, что дело обстоит именно так, уж таким наглым, сытым, все презирающим было его толстогубое лицо, изрытое буграми и лоснящееся, словно смазанное салом.

— В общем, плохо живем, что и говорить, — балабонил таксист. Он не умолкал ни на секунду, глубоко и сочно затягиваясь измочаленной и иссосанной папироской. — Да, плохо, хуже нельзя. — Папироска перепрыгивала из угла в угол его толстого рта, и когда он затягивался, слышно было какое-то надсадное сипенье, потом он выпускал дым, и в машине трудно было дышать. Я приоткрыл ветровое оконце. Стало чуть легче. — В шоферы теперь никто не пойдет! Раз прогрессивку отменили, какой дурак пойдет? Что я, себе враг, что ли? Нет, шалишь, теперь разговор короткий: отстукал план, а там гори оно синим огнем! Проживем, не помрем. Ведь нас все-таки начаеки всегда поддержат. Начаеки от

пассажиров. Что, пассажир сам, что ли, не понимает? Прекрасно понимает, он сочувствует, он всегда начаек даст шоферу. Если он порядочный, конечно…

Этот холуй обрабатывал меня довольно долго, ему важно было втолковать мне как следует про «начаек». Я молчал, он понял это молчание как знак согласия и решил приступить к художественной части.

— Моральный кодекс строить захотели, — сказал он с безнадежно-горькой и мудрой улыбкой уставшего борца, — ас кем, я вас спрашиваю, строить? Возьмите хотя бы директора нашей автобазы. С ним, что ли, строить? Так ведь это такой пройдисвит, с ним костей не соберешь, он тебя в два счета как липку обдерет и голым по лесу пустит. Отвозил я его летом на дачу, под Тарусой дачка у него возведена, и там у него жена и вообще родственники. Целая капелла. Жена чернявенькая такая, ничего, немножко на цыганку скидывает, работает в сети! Балуется, конечно, — это закон, меня не проведешь. Она, что ли, моральный кодекс строить будет? Как бы не так! Она — будь здоров. Она совсем о другом думает, у ней в глазах такой, извините, Мопассан прыгает, с ума сойти! А наш-то начальничек

сегодня речугу на собрании толкнул. Как, значит, мы теперь отлично будем жить и как, между прочим, к делу беззаветно относиться нужно и бескорыстно, и трехразовое питание бесплатно, и, мол, это только первые признаки, а там ясные дали и перспективы, и та-та-та, и тра-ля-ля-ля, и тому подобное. Ну, наши лопухи-то, шоферня, ухи развесили, хлопают, как сумасшедшие, ну, а я-то сижу думаю: нет, брат врешь, не может быть… Ты, значит, не пей, живи бескорыстно, да только я сомневаюсь, чтобы этот Хапугин согласился кипяченую водичку пить. Убей, не поверю…

Мы проехали Самотеку и, не доезжая до Колхозной, развернулись в обратном направлении. Небольшая эта поездка уже утомила меня, шофер этот стал ненавистно-противен, и еще я подумал, что шум и хлопание дверцы — все это может обеспокоить Тайных соседей и что лучше уж я дойду до нее пешком, приятно будет пройтись по тихой, спящей улочке, ведь я давно не ходил по ней ночью, очень давно ходил, наверно, в прошлом тысячелетии, а сейчас пойду в последний раз.

— Все, шеф, — сказал я. — Стоп, машина.

— Приехали? — сказал он и выключил счетчик. — Шестьдесят копеек.

Я дал ему рубль. Он сказал:

— Угу.

Я придержал дверцу:

— Слушай, шеф. Слушай внимательно. Объявляю тебя шкурой и треплом. После твоих рассказов, понял? И запрещаю тебе трепаться, дерьмо!.. А теперь поезжайте, шеф. Будьте здоровы! Там на счетчике было шестьдесят копеек, я дал вам рубль. Сдачи не надо. На чаек! — И я захлопнул дверь.

Машина, как кошка, прянула вперед. Только сзади сверкнул вороватый огонек, и был таков. А я остался один на тротуаре, выпрямился и глубоко-глубоко вдохнул прекрасный осенний воздух. Мимо меня мчались редкие машины, они сбивались в стайки у светофоров, потом вырывались на простор и исчезали где-то там наверху. А редкие поворачивали здесь, подле меня, и я стоял, поджидал, смотрел, какая повернет, и все ждал, что это будет шикарная голубая «Волга». И это было долгое и тяжелое стояние, и надо было пересилить себя, и на дворе было теперь так благостно, что трудно передать, тяжелая крупная звезда в небе посветлела, и я пошел к ней навстречу, к переходу, и перешел улицу, и вышел на бульвар. Сбоку, справа от меня, выстроились переулки, в них призрачно сиял тот жуткий неприятный свет,

свет рентгеновских аппаратов, свет, который почему-то успокоительно называют дневным. Давно я не ходил этим бульваром, давно здесь не был, но помнил дорогу очень хорошо и ни разу не сбился. Я бы, пожалуй, и с завязанными глазами добрался сюда, в этот странный, горбатый, такой несовременный переулок, сплошь уставленный маленькими деревянными домиками, как в кинокартине из жизни дореволюционной провинции. Я вошел в калитку Тайного дома, свернул влево и обошел молчаливый садик из трех деревьев, со столиком для игры в домино и песочником для ребят. Тайно окно было плотно занавешено, и свет в этом окне погашен. Стучало мое сердце, я хорошо его слышал, стучало, ничего не поделаешь, а рука была мягкой и тяжелой, и мне показалось, что я с трудом ее подымаю. Я положил руку на подоконник и перевел дыхание два раза. Когда я стукнул по стеклу, тихонько, одними ногтями, свет за окном сразу вспыхнул и засиял мне, и я успел перейти к двери. Свет погас снова. В небе висела моя знакомая звезда, огромная, как камень, в чалме иллюзиониста, она надменно сверкала, холодная и отчужденная, и в эту минуту я озяб, меня трясло и знобило, а за этой дверью было тепло, там жила женщина,

которая ждала меня, она теперь нашаривала ногой тапочки и снимала с крючка халат, и вот она накинула его на плечи и сейчас осторожно ступит в коридор, чтобы пройти по его ветхим половицам как можно тише и мягче, стараясь, упаси боже, не брякнуть чем-нибудь в темноте и не обеспокоить людей.

Еле слышно щелкнул замок, дверь отворилась, на пороге стояла Тая. Она была в одной рубашке. Я смотрел на нее.

— Явился, — сказала Тая.

— Да, — сказал я, — вот он я.

— Явился, не запылился.

Она протянула мне руки из темноты.

— Иди, — сказала она. — Скорей, мне холодно тут стоять раздетой.

Я взял ее руку, и она притянула меня к себе.

9

Хорошо было хоть на минуту представить себе, что ты вернулся в родимый дом, где долго и верно ждала тебя прекрасная женщина, что ты вернулся к ней через годы и грозы и что полная мера счастья назначена тебе теперь судьбой, раз ты вернулся под эту кровлю, раз ты сюда дошел. Хорошо было идти за этой женщиной, осторожно ступая ногами, всякий раз словно ощупывая колеблющийся под тобою пол. Хорошо было идти так по темной уснувшей квартире и на маленьких и неожиданных поворотах касаться Тайного тела и чувствовать его нежное тепло и живой трепет. Хорошо было знать, что она в одной рубашке и что ты сейчас обнимешь ее и поцелуешь, и хорошо было думать, что ты долго ее ждал и дождался. Да, хорошо все это было бы, если бы не было на свете реального живого мальчишки и его беспощадной трепотни сегодня в душе, трепотни, открывшей мне правду и перевернувшей жизнь.

Мы вошли в комнату. Тая выпустила мою руку, и я боялся сдвинуться, мне чудились черные уступы и острые углы. Я сказал совсем тихо, почти

шепотом:

— Где можно сесть?

Она вернулась ко мне и взяла двумя руками за плечи и подтолкнула. И потом повернула лицом к себе и нажала на плечи:

— Садись.

Я сел, и ее грудь коснулась моего лица, и сердце забилось быстро и сильно, и я услышал, как стучит в ответ и Тайно сердце. Она наклонилась и приникла ко мне, поцеловала, и когда целовала, я подумал, что лучше бы уж она меня зарезала, и собрал свою душу в кулак, и отодвинул Таю, оттолкнул ее легонько. Я сказал:

— Подожди.

Она отошла к окну. Там тьма не была такой густой, да и глаза мои, наверно, уже попривыкли, и я смутно видел Таю, как она стоит у окна в одной рубашке. Я сидел на стуле у стены и чувствовал, как откуда-то справа на меня веет, чуть слышно тянет каким-то тихим теплом. Я протянул руку и нащупал холодящий прутик. Это была маленькая кровать, в ней спал Вовка. И это его тепло овевало меня.

Тая стояла у окна.

— Что-то все не так, — задумчиво протянула она и закинула руки за затылок и постояла так,

медленно покачиваясь. — Коля, — вдруг спросила она живо, — ты зачем пришел?

Я сказал:

— Визит вежливости.

— А-а, — протянула Тая, — вот оно что… То-то, я вижу, ты сидишь как в театре… Ты, может быть, просто так посидеть пришел? Ну? Говори! — Она требовательно это так сказала, даже голос повысила.

Но я сказал ей строго:

— Тише. Разбудишь мальчика.

— Ах, ты какой заботливый, — сказала Тая, — разбужу! Не бойся, не разбужу! Ему главное — уснуть, а там хоть из пушек пали, спит до утра на одном боку.

— Ему теперь сколько? — спросил я.

— Уже пятый, — откликнулась Тая.

Мы опять замолчали. Между нами стоял стол. Я сидел неподвижно. На столе очень громко тикал маленький будильник. Тая все-таки подошла ко мне снова.

— А я знаю, — сказала она шутливо, — я все про тебя знаю. Ты пьяный.

Я не ответил. Она засмеялась, мирно, по-хорошему, и крепко и тесно прижалась ко мне, и вцепилась в волосы, и помотала моей головой,

словно таску мне дала.

— Ну, ничего, — сказала она, — бывает! В жизни всякое бывает, и не такое случается.

Что она имела в виду? Наверно, сама себя прощала — всякое в жизни бывает…

— Раздевайся, что же ты, — сказала она просто, — ведь не к чужой пришел. Ложись, отоспись… Иди сюда. — И она отошла от меня, и я услышал, как она откинула одеяло, легла и укрылась. Я еще не мог к ней подойти. Она подождала еще несколько. — Не выламывайся, — в голосе ее была какая-то словно бы угроза. — Коля, не выстраивай номеров, не надо, здесь не цирк…

Я сказал:

— Посижу и уйду.

Она приподнялась на локте и долго смотрела на меня.

— Обидеть пришел, Коля? — сказала она горячим и сухим шепотом. Затосковал, да? В Ташкент потянуло? К своей, да? — Она говорила быстро, словно торопясь освободиться от какого-то груза, который жег ее немилосердно, она говорила быстро и зло, я знал ее в эти минуты, и так жалко, что в слабом этом свете не видел ее красивого лица. — В наездницу влюбился, она чем же тебя, интересно, завлекла? И как тебя Алимов там не

приезал, тебя на куски надо резать, ах, жалко, Алимов тебя пощадил. Или, может быть, он про вас ничего не знает? Так я напишу, я ему быстро глаза открою, дураку! Ишь, сидит — как я не я! Приехал, видите ли, поиграть со мной, как кошка с мышкой, — голос ее задрожал, в нем послышались слезы. Два года! Два года, — она словно обращалась к каким-то, окружавшим ее невидимым свидетелям, — я его жду, вот увиделись, а слово ласковое, хоть одно, где?

Ах, как хотела она, бедная, защитить, спасти наше с ней самое дорогое, самое драгоценное, да, видно, не умела, не с той ноты взяла. И мне мучительно было слышать в темноте ее резкий голос, такой непохожий на ее душу, злой голос, произносивший в темноте колючие и мелкие слова, она не умела подбирать слова, и они тоже не похожи были на ее душу, ее душа лучше была и выше этих слов. Они свистели в душном воздухе и не попадали в мишень, они пролетали мимо, как говорится, за молоком, и жалость, острая и саднящая жалость к себе и к ней подняла меня с места и толкнула вперед, к Тае. Я встал, и быстро подошел к ней, и обнял ее, и поцеловал, и сказал, что никого у меня в Ташкенте не было, и это была правда. И она, когда услышала это от меня,

то вдруг ухватилась за меня цепко и отчаянно, как будто защиты просила, и долго не отпускала меня, а я и не рвался от нее, и только когда стало рассветать, я услышал снова, как громко тикает будильник на столе…

На дворе уже кончалась ночь, пора было приходить рассвету, и в плотно зашторенные окна Тайной комнаты втекал какой-то ослабленный серый свет. Стали видны стол и зеркало, и блестел уголок Вовкиной кровати. Тая снова закинула руки за голову, она лежала молча, у нее были нежные, трогательные виски, и она смотрела куда-то вверх, и брови были сдвинуты решительно и сурово.

— Нет, — вдруг сказала она, — нет, нет. Хорошо с тобой, слов нет, хорошо, прекрасно, волшебно, а не склеится у нас, не сладится, все равно нет.

«Правда, — подумал я, — все понимает».

Она соскочила с кровати и, босая, в рубашке, пошла и оправила что-то на Вовке. Да, права она, ничего не выйдет, пора кончать.

— Голова болит, — сказал я, — на воздух надо.

Она несколько раз кивнула головой:

— Беги, беги. Я вижу, опять потянуло куда-то. Опять бежать хочешь. А куда? Куда, отчего ты, все бежишь? Что ищешь? Кого? Не ищи, все равно

не найдешь. Скажи правду, соврал про Ташкент? Ведь было же? Было? Говори! Ведь я тебя два года ждала, все ждалочки изгрызла… Ждала, ждала…

Я сказал:

— Кинь мне рубашку. — Она подала мне одежду. — Ждала, говоришь? Верю. Но ведь ты же не одна ждала?

— Что? — сказала Тая.

Я сказал:

— Ты в компании меня ждала, Тая. Поэтому тебе и хочется, чтобы у меня в Ташкенте кто-то был. А я тебе верно сказал, ты знаешь, если бы у меня кто был, я бы сразу сказал. А ты обмануть меня хочешь, а чувствуешь, что это не дело, не для нас с тобой поступки, вот и пророчишь, что, мол, у нас не сладится. Это совесть твоя за тебя говорит. И на том спасибо.

Она отступила от меня подальше.

— Ты что? Не протрезвел?

Я сказал:

— Выходи, Тая, за майора. Я тебе советую. За Лыбарзина не надо скользкий, ты дай ему атанде, а за майора иди.

Она заплакала. Плохо дело. Я когда это говорил, я думал, что она мне по морде даст или на колени встанет, скажет, что неправда, что это все не так,

не было и быть не могло. Во мне надежда жила целый день, что она мне в глаза плюнет, что я потом, когда встречу этого Славку из винеровской труппы, я все уши ему оборву, чтоб не трепался, не повторял черт знает какую чепуху. А теперь, когда Тая заплакала, закрыла лицо руками и слезы побежали уже сквозь пальцы, их было видно, много быстрых и мелких слез, только теперь я понял, что все это правда. Может быть, следовало мне промолчать, не признаваться, что мне все известно, не затевать истории, а то ведь как черство с моей стороны получается, ведь и ей небось горько сейчас. И когда я про себя пожалел ее, я понял еще и то, что она живет в моей душе и долго будет еще жить, что она, может быть, часть меня самого, и не скоро я сумею отделиться от нее, от этой части, и посмотреть на нее чужими глазами, и что теперь началась в моей жизни новая дорога, которая, может быть, будет потрудней всех других, по которым я ходил в этой жизни. Но так уж случилось, так выпало, так стасовалось, и теперь все. Ты ступил на эту дорогу. Иди же!

Я встал и подошел к Вовкиной кроватке. Оттуда по-прежнему тянуло теплом детского тела, мальчишка лежал, отвернувшись к стенке, круглая, складная его головка темнела черной перчинкой

на белой подушке. Я нагнулся и понюхал его волосы. Они пахли свежим июльским сенцом. Я прикрыл открывшееся Вовкино плечо, прикрыл его всего плотно, по шею. Когда я нагибался, услышал, как что-то брякнуло в кармане, и вспомнил, вынул пластмассовую собачку, купленную в ресторане, и положил к Вовке на одеяло.

Таинственный это был ребенок, что-то вроде Железной Маски. Хотелось бы мне с ним познакомиться. Подумать только, я всегда видел его только спящим, ведь я приходил сюда по ночам и уходил на рассвете и всегда видел только круглую точеную детскую головку на белой подушке, слышал чистое дыхание, ощущал тепло его тела, а глаз не видел, голоса его не слышал, как ходил он — не знал, и жалко мне было. И сейчас я положил свою руку в Вовкину ладонь, чтобы проститься с ним, и пожал эту незнакомую ладонь. Он не проснулся, нет, только пошевелился, положил щеку поудобнее, и все-таки я ощутил почти неуловимое ответное пожатие — он спал и пожал мне руку во сне. Что ему снилось сейчас? Кто ему снился?

Тая сказала от окна:

— Тебе кто все это расплел? Кому я спасибо-то должна сказать?

Я сказал:

— Я пойду сейчас.

Она подошла ко мне, и странная у нее была походка. Боялась она меня, что ли? Очень униженно она шла. Я обнял ее за плечи. Она подняла ко мне лицо. Глаза ее были прикрыты.

— Что ты хочешь, скажи, — сказала Тая. — Я все сделаю.

— Славная ты, Таюха, — сказал я, — а я, брат, тяжелый человек. Характер очень у меня тяжелый, не годится никуда.

Глаза у нее все еще были зажмурены, и веки дрожали, словно она все-таки думала, что я прибью ее, и все у нас будет, как у людей.

Будильник все еще тикал на столе.

Я сказал:

— Проводи.

Она встрепенулась и снова взяла меня за руку. Я сжал ее горячие пальцы и пошел за ней. В квартире по-прежнему было тихо. Никто еще не просыпался. У дверей Тая слегка замешкалась и тихо, не звякнув, отперла замок. Она медлила отворять, видимо, считала, что не все еще сказано. Я молчал. Потому что сказано было все. Тогда она припала ко мне, ненадолго, наспех, и спросила:

— Совсем?

Я не ответил ей, толкнул дверь и вышел на волю.

10

Звезда все еще стояла на большом, уже начинающем светлеть небе. Она только немного переместилась вниз и направо, но была такая же колючая и льдистая, в мелких, нестерпимо сверкающих лучиках — ощетинившийся небесный еж. Тихо было в переулке, он был как заколдованный в этом звездном свете, спящий, зачарованный, оцепленный кривыми ветками деревьев, протянувшими свои темные руки над маленькими крышами. Гулко стучали мои каблуки по асфальту. Когда я преодолел переулочный горбик и кривая резко пошла вниз, мне пришлось прибавить шаг, и сторожкая тишина взрывалась моими шагами, как пистолетными выстрелами. Я шел по улице, измотанный до предела, и душе моей было жестко, смутно, безрадостно. На пустынном, безлюдном бульваре ветер шумел в листьях и ворошил, взметал на дорожках скрипящую едкую пыль. У остановки троллейбуса стояла небольшая группа парней в коротких плащах, сигареты тлели в их мальчишечьих ртах. Они негромко разговаривали о каких-то шлако-

блоках, и когда я проходил мимо, замолчали, как по команде. По их лицам видно было, что я выгляжу вроде как чокнутый. Впереди, у далекого светофора, уже сбегались первые стайки автомобилей, дорога была похожа на хлебный ломоть, и задние фонарики автомобилей покрывали этот ломоть красными икринками. Постепенно я согрелся, шел быстро и минут через десять пришел к цирку.

В проходной было тепло, попахивало керосином и какой-то едой, и, когда скрипнула отворенная мной дверь, тотчас же в вахтерской комнатушке растворилось оконце и в него выглянуло сморщенное и подкрашенное личико Норы, цирковой артистки, состарившейся на манеже, старинной моей приятельницы, деятельной, разумной и веселой женщины, когда-то принадлежавшей к самой что ни на есть цирковой верхушке. Благодаря этой принадлежности к высшим сферам Нора была очень требовательна к людям, и далеко не всякого она одаривала своим расположением. Я же был сыном ее любимой подруги, и со мной Нора вела себя «на равных». Сейчас она посмотрела на меня своими пронзительными буравчиками и сказала тревожно:

— В чем дело? Здравствуй, с приездом. Что с

тобой?

— Я разбудил вас? Ни в чем не дело. Все нормально.

— Иди ко мне, — сказала она, — я не сплю на дежурствах. Вообще мне кажется, что я никогда не сплю. Читаю сижу. Иди сюда, посиди немного. Где ты шлялся?

Я сказал:

— Гулял.

— Ну и ну, — она покачала головкой, — где так гуляют? Сломишь голову, смотри, у тебя такой вид, словно тебя живого пилой пилили.

— Обойдется.

И я вошел в ее маленький чулан. Мне с ней было просто и спокойно, как-то по себе. И вахтерка эта, котушок, и покрытая ватным лоскутным одеялом скамья, и сама тетя Нора — все это было кусочком цирка, ну, а цирк был мне дом родной. Здесь в этот поздний или, может быть, ранний час (старые ходики висели на гвозде с подвязанной к гире ложкой; они показывали сорок минут пятого) было тепло и тихо, рядом со мной сидела добрая, чудная старуха, мой верный товарищ, артистка с переломанным крестцом, и я повалился на бок, на одеяло, и вытянул ноги, и она тотчас подставила мне под них табурет. Я

прикрыл глаза.

— Грина вот сижу читаю, — сказала Нора негромко. — Я так: я дочитаю его книжку, закрою, переверну, снова открою и опять читаю. Не надоедает.

— Дай чаю, — сказал я, — если есть. Да, Грин не может надоесть.

Нора копошилась у покрытого газетой стола. Она сняла крышку с большого синего чайника.

— Я недавно смотрела кинокартину «Алые паруса», — сказала Нора. Может, тебе крепкого заварить?

— Не засну тогда, — сказал я, — а надо поспать. Ну, ходила ты, значит, на «Алые паруса»…

— Да, — продолжала она, — ведь это ужас. Знала бы — ни за что не пошла. Все, что я внутри себя видела, когда читала, все это просто осыпалось как-то, оползло. Я не могла все это видеть, хотелось защитить то, свое. Я стала глаза закрывать, чтоб не видеть, а потом и вовсе сбежала. Нет, так нельзя. Не теми руками делали, — добавила она убежденно. Потом еще добавила: — Да я и вообще против этого…

— Против чего?

— Да против того, чтобы самые лучшие книги в кино ставили. Вот Чехова «Дом с мезонином»

и «Даму с собачкой». Ведь жалко, понимаешь, жалко! Ведь я себе все не так представляю! И обстановку, и природу, и лица, и глаза, и голоса, и даже движения. Ведь это так у всех. И всем, по-моему, должно быть жалко, что все это в кино обязательно перекорежится… Или вот: артистка играет. Она, конечно, молодая, и красивая, и в моду вошла, но ты пойми — она вчера Каренину сыграла, а сегодня она Дездемона, а завтра Кроткая из Достоевского, а в «Кинонеделе» уже пишут, что теперь она снимается в кинокомедии «Заведующая булочной». Куда это годится?.. Тебе с сахаром?

— Ох, строга, тетя Нора, — сказал я.

Она сняла кружку с плитки.

— Погорячей, да?

— Нет, — сказал я, — это еще что за новости! Я не люблю. Теперь пусть стынет. Опять надо ждать.

Я снова закрыл глаза, а она, немного озадаченная, засмеялась ласково и хрипло.

— Капризы… — сказала Нора, — ему еще не нравится. Ох, забаловали тебя, Коля, бабы.

— Ты в уме? — сказал я. — Не стыдно тебе, старуха? Что это ты несешь? Когда это меня баловали бабы? И вообще, где они, эти бабы? Что-то

не видно!

— И хорошо, что не видно, — горячо подхватила Нора, — я сама баба, а баб не люблю. Ты, Коля, мужик, и ты, конечно, вправе, ты можешь крутить романы, но я тебе так скажу: тебе друга надо одного-единственного, ты большой артист, самый человечный клоун, и тебя все эти романы будут держать, иссушат душу, растреплют тебя всего, как мочалку изжуют, тебе, говорю, друга, друга надо, женщину-друга.

— Ты мой друг, — сказал я, — и все! Вполне, хватит, но горло сыт. Дай-ка мне, друг мой, женщина, чего-нибудь пожевать. И не заводи спасительных разговоров со мной больше никогда. Понял — нет?

— Понял — да! — сказала Нора. — Съешь с сыром?

— Ни в коем! — сказал я.

— Вот есть полбублика, — сказала она, — возьми… Я взял, а она села у стола, облокотилась и подперла маленьким кулаком свое сморщенное личико, и подведенные ее глазки прикрылись какой-то тонкой пленкой, как у старых птиц, она смотрела прямо перед собой, и я не знал, спит она или нет, тетя Нора, и я пил ее чай, и жевал ее черствый бублик, и вспоминал далекое время, ко-

гда я был маленьким и мы жили в Полтаве, были живы отец и мама, и тетя Нора приходила к нам в гардеробную в розовом трико, туго натянутом на точеные ее ножки, и вся она была осыпана цирковыми драгоценностями из стекла и фольги, блестки сверкали на ее груди, тогда она была совсем еще молодая куколка, и они с моей мамой смеялись, и болтали, и грызли орехи, и орехи щелкали на их зубах, это были звонкие выстрелы, как из пистолета, и вырастали горки ореховой скорлупы. И я всегда просился сам убирать эти скорлупки и говорил стихи: «А орешки не простые, все скорлупки золотые», и приходил отец с манежа и размазывался перед зеркалом, и все косился на молодую куколку своим цыганским злым глазом, вот кто любил женщин и кого они тоже любили — это батя мой Иван Николаевич, и когда мама замечала эти его взгляды на Нору, она начинала смеяться еще громче, и мне слышалась в раскатистом этом смехе некоторая принужденность. И потом помню, как к нам зачастил бесстрашный капитан Сантино, он был смелый и дерзкий человек и работал с пантерами, а когда он видел Нору, он сразу становился шелковый, и большие его прекрасные глаза, обведенные какими-то тонкими тенями, становились груст-

ными, и даже победный его нос повисал как-то очень жалостно, и я знал, что он просит тетю Нору поехать с ним в его родную Италию, но тетя Нора сказала ему, что она еще очень молодая и не поедет в Италию, а через некоторое время вышла замуж за рослого Сашку Пермитина, ассистента этого самого бесстрашного капитана Сантино. И капитан был на их свадьбе и плакал, и Сашка плакал, и тетя Нора тоже, а потом они с Сашкой стали репетировать, они целый год репетировали, и они стали называться мировыми снайперами — сверхметкими стрелками, объехали всю Россию и пользовались большим успехом. А капитан уехал в свою родную Италию, и там его все-таки растерзали эти подлые пантеры. И его ассистент дядя Саша бросил тетю Нору, и никто не знает до сих пор, что у них там вышло, просто тетя Нора снова стала работать одна и работала всю свою длинную, долгую жизнь, работала безупречно, всегда пользовалась успехом, но говорили, что ей очень полюбилось красное сладкое вино и это помешало ее работе, потому что она пила его слишком много. А в войну тетя Нора всегда стояла на крыше, дежурила, учила ребят тушить зажигалки и всегда палила вверх из своего оружьеца, все хотела сбить вражеский самолет. И

когда нас отослали из пионерлагеря в эвакуацию, на Магнитку, там было голодно, и Нора била голубей, всех, наверно, в городе перебила голубей, и раздавала их артистам, на подкормку… А сейчас я уже давным-давно взрослый и скоро буду просто пожилой, и вот я сижу у нее в вахтерке, и я разбит сейчас душой, и Нора дремлет, и обута она в мужские ботинки, и какие-то кривые чулки сползают с ее высохших ног.

— Еще налить, выпьешь?

Она была готова кормить и поить меня, лишь бы я не уходил.

— Все, — сказал я, — спасибо тебе, напоила.

— Ты не думай, — сказала она, словно решившись, — не так страшно синее лицо, а так, в общем, все равно симпатичный. Я думала — гораздо хуже.

Ах ты, тетя моя Нора.

Я сказал:

— Я привык, что ты. Пустяки. Ты прости меня, что я раньше к тебе не пришел. Завертелся. Там у меня платок для тебя, в общем, он ничего, он большой и мягкий и с этим… как его… с начесом! Я не успел распаковаться как следует, так что я тебе завтра отдам, ты извини.

Мне было неловко видеть, как она покраснела

и отвернулась, стараясь скрыть удовольствие.

— Зачем тратишься? — сказала она.

Я погладил ее морщинистую лапку.

— Ну, пошел, досплю.

— Иди, — сказал она. — Разбудить?

— Я сам.

— Часа два тому назад раскатовский багаж прибыл, — сказала Нора, десять ящиков огромных, завтра подвеска, послезавтра репетиция.

— Вот и славно, — сказал я. — Конец второго отделения на месте. Они где остановились?

— В цирке. В большой гардеробной. Им кровати поставили, все честь честью.

— Ну-ну, — сказал я.

И я вышел от Норы и прошел двором, и когда шел, чувствовал себя таким старым, еле ноги волочил. А что, молодой, что ли, скоро сорок, старый, он и есть старый. И я вошел в цирк и, шаркая подошвами, побрел на конюшню. В огромном здании цирка было непроглядно темно, я пошел чуть ли не ощупью. Вскоре немножко забрезжило, одинокая «экономная» лампочка почти не освещала конюшню. Но я знал, где выключатель, нашарил его, прибавил свету и пошел к Ляльке. Я прошел мимо аккуратно составленной пирамиды ящиков, новеньких и еще не грязных, на них

было написано — на каждом: «Раскатов!» Меня насмешил этот восклицательный знак, я обогнул ящики, там в конце конюшни спала больная слониха, я шел к ней.

Видно, суждено мне сегодня было и радость пережить. По закону справедливости. А то что ж на человека так наваливаться, брать за горло и бить под вздох? Надо дать человеку передышку, воздуху надо дать ему глотнуть. И этот воздух дала мне Лялька. Ведь я воображал, что эта несчастная спит под своим сеном, дрожит и зябнет, и тяжелые хрипы в ее груди делают свое страшное дело. Ничуть не бывало! Слониха встретила меня, стоя на ногах, с весело и задорно приподнятым хоботом, она покачивалась взад и вперед, словно разминая уставшие мышцы и перегоняя застоявшиеся ведра крови по всему могучему и здоровому своему телу. Увидев меня и сразу признав, Лялька торжествующе трубанула, и, наверно, в эту минуту многие в ужасе заткнули уши — и животные и люди. Я подошел к ней, и слониха обняла меня хоботом за шею и притянула к себе, от нее пахло сеном и цирком, и я обнял ее, широко раскинув руки, чтобы побольше захватить необъятного ее лица. Мы так постояли немного, обнявшись, потом Лялька повернула

меня к себе спиной и несильно толкнула вперед. Я вспомнил про булочки и поглядел на пол, куда положил их вечером. Булочек не было. Ни одной. Я оглянулся и сказал:

— Ай, браво! Все съела?

Лялька не обратила на этот вопрос никакого внимания и снова хоботом толкнула меня. В чем дело? Я не понимал ее и поглядел в ту сторону, куда двигала меня Лялька. Оттуда шел какой-то запах. Я сделал несколько шагов и увидел ларь. Вот оно что! Я сразу ее понял и открыл ларь. Он был доверху набит свеклой и морковью. Эта чертиха хотела есть! Она была здорова и хотела есть! Как я сразу не догадался! Я набрал корма и стал таскать его и складывать у Лялькиных ног. Она занялась едой. Все было в порядке.

Я пошел к себе.

11

Моя гардеробная была без окон. В ней было совершенно темно, но я не стал зажигать свет, я и так отличнейшим образом нашел свою постель. Цирк еще спал, тишина владела цирком, и только изредка ко мне сюда доносилось легкое весеннее погромыхивание, словно невдалеке собиралась освежающая первая гроза и для начала рассыпала по небу, раскатывала над полями первые громовые шары. Но это было не так, сейчас стояла осень, осенью гроз не бывает, и я отлично знал, откуда эти мощные звуки, долетающие сюда под крышу, я знал, что это Цезарь, царь зверей, старый, с пломбированными зубами лев плохо спит, мучимый ревматизмом, и что сейчас бедняга, наверное, уснул и ему снится ростовский цирк — там было тепло и там у него осталась одна знакомая, больная астмой сторожиха. Он тосковал по ней.

Я положил руки под голову, и уставился в темноту, и приготовился не спать, потому что, как ни верти, а сегодня произошел наш с Таей разрыв, и это, видно, нелегкое дело. Она была дорога

мне, иначе с какой бы радости я, как дурак, вел совершенно чистую жизнь около двух лет? Может быть, я ее выдумал, всю ее с головы до ног, и любовь, свою к ней выдумал, и уж наверняка я выдумал ее, Тайну, любовь ко мне. Ведь она-то, оказывается, жила нечисто и не ждала меня, и майоры возили ее на своих машинах, да-да, майоры, ведь не обо всем же на свете может знать пятнадцатилетний мальчишка, у одного майора «Волга», и он его знает, а другой, может быть, берет такси, а четвертый пешочком, а Лыбарзин норовит в кабачок, послушать, как оркестр «дует стиляжку». А я-то себя настраивал, и перестраивал, и мучил, чтобы быть достойным ее, а сейчас вот пробыл у нее, а потом ушел просто так, переставляя ноги, самым обыкновенным образом, и не умер, и не было инфаркта и каких-то невыносимых сожалений. И если бы я хотел честно посмотреть в самого себя, то я бы, может быть, многое увидел, но я не хотел честно смотреть, я уклонялся, и все потому, что боялся там, в себе, увидеть, что ничего не испытываю, кроме обиды: обманули такого хорошего парня, и уж если совсем честно, — тогда так: я чувствовал, что мне после всего, что случилось, после того, как я ушел от Таи и побыл один, уже зная, что

нашей с ней жизни конец, после всего этого у меня словно полегче стало на душе, словно расковали меня, отвязали от дерева, ошейник сняли. Это было новое чувство, такого не было до сих пор, и оно доставляло наслаждение, странное и острое, какое бывает, когда стукнешь руку или ногу о барьер, потом сидишь за кулисами, а оно проходит. Больно-то оно больно, но проходит. Да, мальчишка я все-таки старый, седой, а все-таки мальчишка, вот обрадовался, что на свободу вырвался, а дело-то в том, что у тебя просто никак не складывается, не устраивается то что люди называют личной жизнью. И тебе остается только ожидать чуда. Тебе остаются сказки в которых ты столько раз представлял шутов и скоморохов, сказки, в которых под звуки серебряных фанфар появляется Удивительная и Небывалая, Золотоволосая и Синеглазая Любовь. И тебе, дураку, пока ты сейчас один лежишь в своей комнате, и вокруг темнотища, и ты не можешь даже в зеркале увидеть свое покрасневшее уродское лицо, — вот только здесь и только сейчас тебе разрешается вообразить себе, что сказки иногда превращаются в явь, происходит редкостное чудо, и Синеглазая и Золотоволосая Любовь найдет тебя на конюшне и протянет к тебе руки, и ты,

увидев ее, сразу узнаешь. Это я уже засыпал, а ведь думал не спать, а вот поди ж ты — засыпал, несмотря ни на что, самым бесстыдным образом, а где-то внизу взревывал тоскующий лев, мучимый старческой бессонницей, потомственный артист цирка, самый настоящий залуженный артист республики из отряда хищников.

Да это я засыпал, и в моей голове закружились и смешались разные обрывки из детских представлений, елочных спектаклей и цирковых пантомим, и мгновеньями я снова просыпался и вспоминал, что Таи уже нет в моей жизни, совсем нет, как и не было, быльем поросло, а такое горячее было место в сердце, такое живое. И теперь я не буду ходить в буфет, не буду искать ее и не буду знать думает ли она обо мне, плачет ли. Пускай она поплачет, ей ничего не значит… Представления пойдут одно за другим, я так и останусь жить в цирке, ни в какую гостиницу не поеду, здесь я ближе к своей работе, к своей клятве манежу, это как объятие, лучше дать его разрубить, чем самому добровольно разжать руки. Высший смысл моей жизни, я говорил о нем сегодня в ресторане — вот в этом смысл моей жизни. Сегодня и ежедневно Я надеваю парик, иду в манеж, дети смеются я снимаю парик, иду в

душ, сорок минут перерыва, я надеваю парик, иду в манеж, дети смеются, и в этой железной мерности есть то высокое, что делает меня Человеком среди Людей. Сегодня и Ежедневно встают к пылающим и гудящим печам сталевары, Сегодня и Ежедневно выходят на вахту матросы, Сегодня и Ежедневно тренируются космонавты и припадает к окуляру телескопа голубой астроном. Сегодня и Ежедневно состоятся первые роды, и последние строки стихов дописываются Сегодня и Ежедневно.

Сегодня и Ежедневно идет представление на выпуклом манеже Земли, и не нужно мрачных военных интермедий! Дети любят смеяться, и мы должны защитить Детей! Пусть Сегодня и Ежедневно вертится эта удивительная кавалькада радости, труда и счастья жизни, мы идем впереди со своими хлопушками и свистульками, мы, паяцы и увеселители. Но тревога все еще живет в нашем сердце, и сквозь музыку и песни мы кричим всему миру очень важные и серьезные слова:

— Защищайте Детей! Защищайте Детей!

Сегодня и Ежедневно!

12

Под дверью кто-то долго возился и царапался. Я протянул руку и зажег свет.

— Коля, ты спишь? — сказал кто-то робко.

Это Нора. Боится, чтобы я не проспал. Я сказал:

— Кошмарная ты все-таки дама, тетя Нора, я же сказал, что я сам. Входи.

Она вошла, немного смущенная.

— Лежи, лежи, — сказала она, — я пришла тебе сказать именно, чтобы ты спал спокойно. Утренник-то отменили. Скоро подвеска начнется — аппаратуру Раскатовых будут вешать. А завтра ихняя репетиция, а уж потом и начнем новую программу. Так что ты спи, высыпайся. Я пойду. Теперь послезавтра моя смена, увидимся. Будь здоров.

И так же смущенно, как пришла, она направилась к двери. И ни взглядом, ни словом не напомнила. Но я-то помнил.

Я сказал:

— Тетя Нора, стой! Вот так и стой. Не оборачивайся. Я тебе что-то скажу!

Она остановилась и стояла ко мне спиной у

самой двери. На ней старенькая жакетка была. Я открыл чемодан, достал тот платок и кинул ей на плечи. Я сказал:

— Носи на здоровье.

Приятно, когда так радуются. Она обернулась, и вся зарделась, и быстро в него закуталась, роскошными такими движениями, вроде она графиня, а этот платок — соболевый палантин. Конечно, она тут же кинулась к зеркалу и вся словно помолодела лет на тридцать. Я, разумеется, не преминул:

— Очень идет. Просто на редкость. Чтобы вещь настолько была к лицу! Ай-ай. Просто я тебя не узнаю. Разрешите представиться. Вы, случаем, не Симона Синьоре?

Она сказала:

— Ну, спасибо.

Я сказал:

— Угодил?

— Еще как, — сказала она. Видно, ей хотелось меня поцеловать.

Я сказал:

— Ну, сна теперь уже не будет! Надо умываться! Так послезавтра увидимся? Приходи меня смотреть!

Она сказала:

— Обязательно!

И когда она проходила, я взял ее за плечи и тихонько сжал. Она сказала:

— Пусти, задушишь.

Улыбнулась счастливо и ушла.

А я оделся, привел себя в порядок и пошел в цирк.

Напряженный, горячий денек предстоял сегодня всем артистам, нужно было распаковаться, прорепетировать, отгладить костюмы, приготовиться к манежу, договориться о своих особых «условностях» с Борисом, потолковать с электриком, занять гардеробную или место в ней, объяснить работу униформистам, в общем, сделать тысячу тысяч дел, таких мелких и таких важных, таких спешных и неотложных. И едва только я вышел из своей комнаты, меня тут же охватила эта бодрая, деятельная и рабочая атмосфера утреннего цирка, к которой я привык с детства и которую так любил. Уже на лестничной площадке я увидел, как разминалась Валя Нетти, это она делала что-то вроде утреннего класса, костюмчик на ней был самый неказистый, и вся она без грима была худенькая и мокрая, и работала она насмерть, не щадя себя, держась за перила лестницы попеременно то левой, то

правой рукой. Увидев меня, она улыбнулась и помахала мне, и я не стал ей мешать, ответил ей и пошел в манеж. Занавески обе были раздернуты, униформисты сновали в разные стороны, взлаивали чьи-то собачки, лязгали какие-то никелированные столбики, кто-то кому-то что-то кричал, кто-то ругался, поминутно вспыхивал то красный, то синий, то зеленый и белый свет — это проходили партитуру эффектов засевшие в своей кабине электрики. В манеже сегодня было особенно шумно, потому что прорепетировать в манеже всегда лучше, чем в коридоре, а манеж редко бывает свободным; и хитрый Борис разрезал невидимым ножиком арену на точные дольки, как в конфетной коробке, и в каждой такой дольке артист репетировал, и повторял, и гранил, и шлифовал свой ответственный трюк. Да, здесь сейчас много артистов нашего всемирно прославленного цирка. Эти люди слышали горячие аплодисменты на аренах всего мира. И я знал, что я равноправный в этом горячем братстве, это поддерживало меня, помогало мне! Люди встречались, здоровались и окликали друг друга, и все это вместе взятое удивительно напоминало мне Запорожскую Сечь: «А, это ты, Печерица! Здравствуйте, Козолуп! Здорово, Кирдюг! А что

Бородавка? Что Колопер?»

Ей-богу, было здорово похоже!

— Ну, как там сборы?

— А как вы проходили?

— Ты не встречал Валези?

— У Маляренко умерла шимпанзиха!

Мимо меня пробежал совсем запарившийся Борис. Он сказал:

— После, когда кончится эта шебурда, найди меня. Не пропадай.

Я сказал:

— Ладно. — И пошел к форгангу, и встал, опершись плечом о стойку. Я хотел посмотреть на работу.

Слева от меня, на местах, сидел высокий и седеющий, похожий на мексиканца из ковбойских фильмов человек. Перед ним стоял юноша в светло-сером костюме. У него был абсолютно не цирковой вид, особенно не нашими казались прямоугольные стекляшки пенсне, каким-то чудом держащегося на пипочке-носике юноши. Мексиканец же этот был популярным у цирковых артистов человеком, это был режиссер Артур Баринов, умница и насмешник, и сейчас в этом шуме и гаме он занимался со специально приглашенным драматическим артистом, кото-

рый должен был читать монолог перед началом программы, — Артур был специалистом-постановщиком этих прологов, или, как говорят в цирке, парадов.

— Ну! — сказал Баринов. — Читайте текст.

— Сейчас, — сказал драматический артист; он встал, откашлялся и душевно прочитал:

Пусть солнце нашей дружбы вечной
Льет на арену яркий свет!
Примите ж наш привет сердечный,
Наш артистический привет!!!

Сколько помню себя в цирке, всегда в прологе читают такие кошмарные стихи. Можете их заказать Мискину иди Зименскому, начинающему Кускову или академику Сельскому, все равно стихи для парада будут бутафорские, неживые, гремящие и фальшивые, прямо не знаю, в чем тут дело, просто заколдованное место.

Сейчас Артур учил молодого артиста искусству чтения стихов.

— Ну кто так читает? — спрашивал он, нещадно шепелявя. — Вас же не слышно! Когда читаешь в цирке, нужно орать! Понимаете — орать! И вертеться нужно вокруг себя, потому что, те, кто сзади вас сидят, они тоже платили деньги! Цирк-то круглый. — Юноша опять прочитал

несчастные стихи, и опять Артуру не понравилось. — Кто вас учил?! — закричал он, и в углах его шепелявого рта сбежалась пена. — Где вы учились, я вас спрашиваю?

Молодой человек холодно посмотрел на него. Из глаз его сочилось презрение.

— Я учился во МХАТе, — надменно сказал юноша.

— Это звучит драматично, — сказал Артур, — «Я учился во МХАТе!», «Я убит подо Ржевом!». Ну, ничего, не горюйте! — ободрил его Артур. — Здесь вас научат настоящему делу.

Я отвернулся от них и стал смотреть в манеж. Там репетировал сальто на ходулях молодой Конойко. Это трюк исключительной силы, и, по-моему, я никогда такого не видел. Он повторил его несколько раз, и всякий раз безошибочно, точно, все выходило как нельзя лучше, ни разу не сорвался, и красивый какой парень, все вместе просто блеск. Лучшего и не надо. Конойко ушел спокойно и деловито, нисколько не рисуясь. Он прошел мимо Васьки Горюнова, тог стоял в «мертвой точке» — на левой руке, и Конойко сказал что-то Ваське, и тот ему ответил, а что, я не расслышал. Васька вот так, на левой руке, может пропрыгать на Центральный телеграф и обратно

— это признанный чемпион жанра. Где-то слева репетировал Лыбарзин, видно, ему хотелось подтянуться, он кидал семь шариков, и у него даже иногда получалось. Хотя все-таки часто «сыпал», и мне смотреть на него все равно было тошно. В самой его манере есть что-то тошнотворное. Убейте меня, а есть. Прав «Пензенский рабочий».

Я отвернулся и увидел дедушку Гарри. Он вышел в каком-то полувоенном пиджачке и в валенках, держа в одной руке лонжу, а в другой — ручку своей маленькой внучки Сони. Дедушка сел на барьер, как садятся в деревне дедушки на завалинке, быстро и по-хозяйски деловито снял с девчушки платьице, она осталась в детском трико. Затем дедушка опять очень сноровисто и ловко захлестнул лонжищу вокруг Сонечкиной талии, широко раздвинул ноги, уселся поуютнее и сказал:

— Алле!

Девочка стала крутить арабское колесо в таком темпе, что я глазам своим не поверил и пошел к ним и стал за спиной дедушки. Нельзя было даже разглядеть ее тельце, она вертелась, как спица в велосипедном колесе, такая маленькая! Это не по годам, ведь надо же и мускулы для этого иметь, а она вертелась, как огонек, мелькала, как белочка,

гибкая и ловкая. Дедушка сказал:

— Ап!

Сонечка остановилась. Личико было у нее напряженное, но она улыбалась. Во что бы то ни стало. Она понимала, что она артистка, и она хоть умри, а должна улыбаться. Я сказал:

— Ай, браво!

Дедушка Гарри обернул ко мне свое доброе монгольское лицо. Увидев меня, он сказал удивленно:

— Коля? Ты?

— Я вчера приехал. Ну и девчонка у вас! Люкс!

Он сделал равнодушное лицо, отстегнул девочку и сказал ей:

— Ступай, отдохни. — И когда она убежала, укорил меня: — Нельзя. Не балуй. Испортить — две минуты.

Я сказал:

— Надо же приободрить.

— Без тебя знают, — сказал он с неудовольствием. — Ну, как дела? Ты из Ташкента? Что там?

Я сказал:

— Все хорошо. Только старому Алимову Каурый руку откусил, кисть…

— Знаю, — сказал дедушка Гарри, — это уже полгода известно. Остывшие новости.

Он помолчал, пожевал губами и заявил:

— Хорошему человеку не откусят…

Не любил старика Алимова наш дедушка Гарри. Он у него в молодости берейтором служил, и, говорят, Алимов здорово затирал дедушку, не выпускал его в манеж, хотя дедушка был серьезный дрессировщик, почище своего хозяина. Далекая это была история, а вот, поди ж ты, еще горела обида в сердце дедушки, тлела под пеплом годов и сейчас дала искру, и я хотел было засмеяться, но не такое было лицо у дедушки, чтобы смеяться, и я сдержался. Мы еще побеседовали с ним о том о сем, но мне не сиделось, мне все хотелось найти Бориса и условиться о моем номере окончательно, и я совсем уже собрался идти, но тут ко мне подскочила сама наша огромная Амударья — она закончила здесь свои выступления и уезжала не сегодня-завтра. Огромная женщина, центнера полтора, не меньше, она подбежала и сунула мне свою мужественную руку. Мы не виделись с ней года три, но для Амударьи это было неважно, она затрещала, как будто мы ни на минуту не расставались с ней, прямо сходу:

— Коля, очень хорошо, что я тебя встретила! Коля, ты возьми общественное поручение: здесь нужно усилить культработу. Коля, это безобра-

зие! За два месяца, что я здесь пробыла, ты не поверишь, Коля, я знаю, но это правда, даю слово: здесь не было организовано ни одной лекции по эстетике. Коля, так нельзя! Мы артисты, Коля! Мы передовой отряд советской интеллигенции. Коля, обещай! Ты нажмешь, ты возьмешь их за горло, кровь из носа, а лекции и экскурсии должны быть! Коля, да? Коля?

— Ладно, прослежу, — сказал я.

— Вконец замоталась, — сказала Амударья, вновь устремившись куда-то, у меня еще сто дел — конец света. Пока.

И она исчезла, а я подумал, что теперь увижу эту чудачку сравнительно скоро — еще годика через два, если не через три.

— Вот, — сказал дедушка Гарри, — совсем недавно, на самаркандском базаре, в дырявом балагане у нее был оригинальный номер. Какой-то байбак палил в нее из пушки, и полупудовые ядра шлепались об ее спину, как груди об матрац. А теперь подавай ей эстетику, без эстетики эта интеллигентка сдохнет.

— Люди растут, дедушка, — сказал я старику, — люди растут, и наша Амударья вместе с ними. Не по дням, а по часам.

— Да, — сказал дедушка Гарри, — да, ты прав.

И он медленно и печально закрыл глаза. Ему, наверно, уже больше восьмидесяти было, и вот из-за этого он и грустил. Я извинился перед ним, простился, еще раз похвалил внучку и пошел к Борису.

13

Инспекторская комната у самого выхода в манеж, пять ступенек книзу, то ли ромб, то ли параллелограмм, столик, стулик, телефон, вешалка, зеркало, и все. Борис сидел за столом, рядом с ним Жек и, облокотясь на столик, стоял Башкович. Они все трое, как по команде, подняли головы и смотрели, как я спускаюсь. Борис сказал:

— Посиди еще немного, вот сейчас программу утрясем.

Жек улыбнулся мне, а Башкович подошел и пожал руку с серьезным и даже торжественным выражением.

— Здравствуйте, Николай Иванович, — сказал Башкович торжественно.

— Здравствуйте, Григорий Ефимович, — ответил я.

Он еще торжественней повернулся и пошел к столу. Такая же узкая спина у него была, такое же приподнятое левое плечо, так же удивительно вразлет торчали уши, и так же неуверенно ступали ноги, как тогда, когда поразительно метко и на веки вечные окрестил его Долгов. Это было

давно, шла война, я уже стал подрастать, и меня включили в фронтовую бригаду, уже и рыжим выходил и акробатом-эксцентриком — номерок смонтировал, и, в общем, в этот день нашу бригаду собрали в кабинете художественного руководителя Михаила Васильевича Долгова. Он славный был человек, высоченный, с козлиной бородкой, и он любил и понимал смешное. Да и сам был остер, горазд на словечко. Вот мы тогда сидели у Долгова в кабинете и слушали его напутствие. Долгов сказал:

— Ну, вот и все. А бригадиром и, значит, вроде директором будет у вас Башкович, Григорий Ефимович.

Мы уже знали тогда Башковича, знали, что он способный по административной части, простой, сговорчивый, и встретили это назначение сочувственно. Кто-то даже попытался похлопать, но тут встал сам Башкович и неожиданно сообщил:

— Михаил Васильевич, я не смогу принять эту бригаду. Я сегодня получил повестку. Ухожу на фронт.

Долгов ничего ему не ответил. Он набрал какой-то номер телефона.

Он сказал:

— Товарищ подполковник? Здравствуйте. Это

Долгов говорит. Извините, что отрываю, но у меня к вам неотложное дело… А вот: вы прислали повестку тут нашему одному работнику, а он нами направляется на работу во фронтовую бригаду, так нельзя ли… Что? Какая у него военная специальность?

Долгов сделал паузу, разом вобрал в себя и оценил горестную фигуру похожего на ржавый гвоздь Башковича и молниеносно подвел итог:

— Его военная специальность — движущаяся мишень!

Много есть прозвищ в цирке: Повидло, Карло, Дважды Пусто. Все это чепуха, самодеятельность. Вот Долгов Михаил Васильевич, тот умел прямо в яблочко.

…Сейчас Башкович сидел за столом инспектора манежа, и все трое они устроили «совет в Филях». Они перекидывали нас, простых смертных, нас и наши номера с места на место, тасовали, примеряли, перетряхивали и раскладывали, как карты в пасьянсе. Трудно составить программу, чтобы она шла по нарастающей линии, чтобы интерес зрителя не падал и чтобы вся эта чисто художественная задача совмещалась бы с технической: с уборкой аппаратуры, с установкой ее, и тут сам черт ногу сломит, тут, брат, надо знать, как это

сделать — и чтобы волки сыты были и овцы, по возможности, целы. Наука. Я сидел и терпеливо ждал Бориса и думал, что вот в другое время я бы спокойно сидел в буфете и дожидался решения своих дел, а теперь я туда не могу пойти, не надо, это и мне и ей будет очень несладко.

— Ну, так, — сказал Борис, — в общем-то так, но возможны варианты. — Он поднял голову.

— Коля, — сказал он, — ты переехал.

— Куда? — спросил я.

— В конец второго отделения, — сказал Жек, — вон куда.

— После бронзовых Матвеевых вы пойдете, Николай Иванович, — пояснил Башкович. — Манеж будет уже убран, он будет чистенький, с рындинским ковром, аппаратура Раскатовых уже висит загодя, и вы сможете работать спокойно.

— Ни граблей, ни клеток, ни лязга, ни грохота, — сказал Жек, санаторные условия.

— Во время вашего выступления все внимание зрителей будет отдано вам, Николай Иванович, — снова вставил научную реплику Башкевич, — ничто не будет отвлекать зрителей, и вам будет легко контактировать с залом.

— Куда угодно, — сказал я, — хоть к черту на рога.

— Это вместо благодарности, — откликнулся Жек.

— Не с той ноги встал? Что случилось? — Борис внимательно смотрел на меня.

Я не отвечал.

Зазвонил телефон.

Борис снял трубку.

— Да.

Там кто-то квакал внутри, и Борис вдруг протянул трубку мне.

— Тебя.

О, черт! Неужели я жду от нее звонков? Я сам себя ненавидел, когда брал трубку.

Я сказал:

— Ветров.

Там сказали:

— Ты завтракал? Если нет, подымись ко мне.

Я сказал:

— Чтоб ты пропал! Пугаешь только. Не мог зайти за мной, что ли?

Он сказал:

— Придешь?

— Сейчас, — сказал я.

— Из буфета? — спросил Жек.

— Русаков, — сказал Борис.

— Я пойду поем, — сказал я. — Значит, все, как

вы сказали. Принято к сведению и исполнению.

Башкович подошел ко мне и пожал мне руку.

— До свидания, Николай Иванович, — сказал он торжественно.

— До свидания, Григорий Ефимович, — ответил я.

14

Они занимали самую большую гардеробную в главном коридоре, и, когда я пришел, все они сидели за столом. Видно, хотели есть и ждали меня. Надежда Федоровна, хотя и пополневшая, но все равно красивая, хозяйничала. Она положила мне на тарелку огромный кусок яичницы — на столе стояла сковорода величиной с таз. Татка сидела напротив меня, она у них единственная была, мать тряслась над ней, закармливала и кутала немилосердно. И сейчас Таткина голова, шея, грудь и плечи были спеленуты цыганской шалью. На полу бегали дворняжки-щенята Нарзан и Боржом. Их жестоко щипал свирепый гусенок Иван Иваныч. Эта троица представляла собой личную труппу Татки. Сам же Русаков, вождь и глава этого табора, высокий и молодцеватый, немного обалдевший от перелета, сидел в нарядной стеганой куртке за столом, поминутно глотал слюну и сжимал ладонями уши. Он только что приехал с аэродрома. За его спиной, цепко держась корявыми лапами за спинку стула, торчал попугай Кока. Он, видимо, очень был рад приезду

хозяина и в знак салюта ежесекундно приподымал и распускал на темечке свой хохолок. Как будто вырастали пучки молодого лука. Роза сидела на полу у ног повелителя и главы. Иногда она деликатно касалась его колена лапкой. Русаков давал ей сахару и не глядя пошлепывал по гладкой, лишенной шерсти коже. Она была африканская собака — Роза, и в лиловых ее глазах плясало веселье.

Динка сидела в клетке. Ей было плохо. Негромкий, но сухой и скребущий грудь кашель мучил ее. Она завернулась в полосатое одеяльце и смотрела на нас укоризненно, неласково и отчужденно. Иногда она передвигалась, чтобы устроиться поудобнее, отворачивалась от нас к стенке, и тогда были видны два красных помидора ее задика. Вошел Панаргин и подробнейшим образом пересказал Русакову все наши вчерашние приключения.

— Молодцы, ребята, — доктора, — сказал тот, великодушно помахав рукой, — выношу благодарность.

— Служим трудовому народу! — сказал я и выпучил глаза. Специально для Татки. Панаргин еще стоял.

— Вольно, оправиться, огладить лошадей! —

крикнул Русаков с кавалерийской оттяжкой. — Садитесь, товарищ Панаргин. — Он пододвинул Панаргину табуретку, тот сел. Надежда Федоровна немедленно положила ему еды.

— А вы почему синий стали, дядя Коля? — хрипло сказала Татка.

— Чтоб смешней, — сказал я.

— Вам сколько лет?

— Сто одиннадцать, — сказал я.

— Ничего, еще молодой, — сказала Татка, — я за тебя замуж выйду.

— А пока давай ешь, — сказал я.

— Она у нас артисткой будет, — сказал Панаргин. — Ты в балете будешь, Татка? Или в цирке, как папа?

— Я певица буду, — прохрипела она. — Вон Петька Соснин стал певцом. Он, говорят, на верблюде скачет, а сам в это время поет. Лично я не видела люди говорят. Он способный. — Она поковыряла в тарелке и добавила завистливо: — Плевала я на его способства. Я в опере петь буду.

— Дай Динке чернослив, — сказал Русаков, — ведь она голодом изойдет, ума не приложу, что делать.

Татка пошла к клетке и стала совать туда лакомства. Динка с отвращением отталкивала их.

— Она, папа, скучает, — сказала Татка, — она немножко хворает, но больше всего она скучает, папа.

— Ты почему так думаешь? — сказал Русаков.

— Она, бывало, и раньше кашляла, но когда ты отдал Лотоса, она заскучала. Я заметила.

— Может быть, вправду? — задумчиво посмотрел на Панаргина Русаков.

— Подсажу к другим, ведь не чахотка же у нее… Вдруг Татка права? откликнулся Панаргин.

— А как же, — сказала Надежда Федоровна, — она папина дочка, она животных чувствует, яблочко от яблони…

Она с гордостью посмотрела на Татку. И Русаков тоже.

В это время, не знаю, ему есть захотелось, что ли, только мы вдруг увидели, что попугай Кока направился своей матросской походочкой к сковороде. Он шел, легонько посвистывая, и пошатываясь, и выставив свой нос, похожий на консервный ножик. Русаков закрыл лицо руками.

— Ай! — сказал он громко, неподдельное горе и отчаяние были в его голосе. — Что я вижу? Кока опять на столе? Он залез на стол? Ай, как стыдно! Нельзя! Ведь воспитанные попугаи никогда не

ходят по столу! Стыд! Позор! Срам! Кока на столе? Стыдобушка!

Кока затоптался на месте, и я никогда в жизни не видел и, наверно, не увижу более смущенного попугая. Мне показалось, что он покраснел. Быстро и неловко ступая меж солонок и вилок, Кока воровато побежал со стола, прыгнул к Надежде Федоровне на колени, вскарабкался по ней на спинку стула, устроился там и вдруг захорохорился, в нем что-то забурчало, и мы услышали:

Чижик-пыжик,
Где ты был?
На Фонтанке
Водку!..

Здесь он ни с того ни с сего устроил вдруг нелепую антимузыкальную паузу.

— Пил! — вдруг крикнули Татка, Надежда Федоровна, Панаргин и Русаков. Они с полминуты напряженно смотрели на попугая. Но тот молчал.

— Двух медвежат! — сказал с досадой Русаков. — Двух чудных медвежат слупил с меня этот алчный старик Кудряшов за такую бездарность… И я доверчиво ему их отдал. Я думал, не может быть, чтобы попугай не смог выучить только одно словечко — «пил». О, кто-кто, думал я, а я его

выучу! И вот полюбуйтесь!

Я сказал:

— Спасибо, Надежда Федоровна, пойду.

— Уже? — сказал Русаков.

— Ночь не спал, — сказал я.

— Ты… еще приходите… — сказала Татка.

Надежда Федоровна проводила меня до двери.

— Ты что, Коля? — сказала она.

— А что? — сказал я.

Она долго смотрела на меня. Я молчал.

Она сказала:

— У тебя глаза как у Динки…

15

Я прошел к себе. Тихо было в моей комнате, как в каюте, корабль шел своим маршрутом, а здесь тихо и можно отдохнуть. Я сел на низенький стул, стоявший подле диванчика, и решил сделать генеральный осмотр реквизита, гардероба, бутафории и прочего моего имущества. Я выдвинул чемодан и стал вынимать вещь за вещью, встряхивать каждую и разглядывать ее на свет, и делал это придирчиво, чтобы, если что не так, отложить в сторону и починить. Я умел ремонтировать свои вещи без посторонней помощи; шил я не хуже любой мастерицы, и стирал, и гладил, и умел парик завить на любой фасон, знал картонажную работу, вертел и заряжал хлопушки, мастерил «батоны» — палки, которыми можно небольно ударить партнера, конструировал разные мелкие машинки для «чудес», например сковородки, из которых можно было вытащить живого кролика, все это было ерундой для меня, жизнь научила, товарищи, родители, потому что неинтересно бегать по городу в поисках мастера, который сумел бы сделать такой пустяк, как музыкальную супо-

вую ложку или соску — она же автомобильный гудок. Все эти насущные вещи цирковой артист, если он любит дело и воспитывался в хорошей цирковой семье, должен делать сам.

И когда я подумал о семье, снова вечная тяжесть легла мне на душу, и сдавило грудь, и дернуло, словно кто кастетом ударил по голому сердцу.

Зачем я уехал тогда из Львова в пионерский лагерь у моря? Ведь я не хотел, не хотел, и хотя я уже большой был и крепкий, и цирковой все-таки, и когда падал и расшибался на репетициях, никогда не ревел, — а тут ревел, не хотел ехать в лагерь, а мама велела, она говорила, что я счастья своего не понимаю, что я должен прыгать от радости и быть благодарным директору Проценко, и председателю месткома — не помню фамилии, — и всей Советской власти, что я поеду к морю, там загорю и отдохну, и что это счастье, и что месяц это не срок, и пусть я не дурю, они мне будут писать и ждать меня в июле обратно во Львов. Она меня проводила и держала Алешку за ручку, а ему было три года тогда, и я целовал его тугую щечку и все подтягивал ему съезжавший носок на толстую ногу, толстую, точеную и блестящую, как ножка какого-нибудь столика или дивана. Но я не вернулся тогда домой в июле, а лучше

бы я погиб вместе с мамой и отцом и маленьким Алешкой, он так вкусно пахнул по утрам и такой был смышленый и нежный, и он погиб вместе со всеми тогда. Фашисты не пощадили их никого, и я этого не в силах забыть, пусть я тысячу лет проживу и потом умру и воскресну снова через две тысячи лет, все равно не будет, не будет, не будет в душе моей им прощенья, не будет во веки веков.

Я сидел так и рассматривал свои парички и жилетки и прочие разные бирюльки, и это меня успокаивало и наполняло каким-то чувством Добра и Дома, теплым чувством Ремесла и Умения, ощущением общности с людьми, которые делают и умнейшие машины, и игрушки, и науку, и весь этот живой и трепещущий мир, и самое искусство делают вот так просто, этими своими двумя ловкими, все понимающими руками. Я подумал, что ничего на свете нет умней, и добрей, и одаренней человеческих рук. И еще я подумал, что эти мысли уже думались до меня, это тоже хорошо, значит, они общие для всех людей, и это еще лучше. Это меня вполне устраивает.

Тяжелого реквизита у меня было мало, все вещи легкие, не громоздкие. Это мой непреложный закон. Я считаю, что я должен играть сам,

должны играть моя душа, мое тело, мое лицо, а не преувеличенные, грубые, «смешные» предметы. Отсюда у меня и сложилась Главная Мысль, Главный Принцип, вся симпатия моя, влечение и направление в моей работе. Я терпеть не могу такие номера, где клоуна бьют по голове молотком, или разбивают о его лоб сырые яйца, или для вящей потехи ему вонзают в лысину топор, и короткая очередь выстрелов вылетает из его противоположной стороны. Я этого не люблю и стараюсь строить свое выступление так, чтобы люди не надо мной смеялись, а мне, моей выдумке, моему озорству, моему умению видеть смешное и показывать это смешное другим. Люди не жалеть меня должны, а гордиться мной, радоваться за меня, любить меня за то, что я ловкий и стою за правду, за то, что я сильнее подлости и коварства, что у меня есть достоинство и я умею его защищать. Они должны меня любить так, как они любят Солдата из народных сказок, смекалистого солдата, который сумел сварить щи из топорища. Они должны любить, меня так же, как они любят справедливо-плутоватого мужика, что делил гусей, или как работника Балду, который хоть и называется Балдой, а гляди ты — умнее и попа, и самого черта, и кого угодно. «Вот так,

таким путем, в таком духе и в таком разрезе. Это, высокоуважаемые коллеги, на мой взгляд, самый верный путь в развитии нашей, советской клоунады. Все, товарищи, я кончил...»

Я перестал возиться с чемоданом, все мое барахлишко было в порядке, я встал и снял со стены мой любимый алый парик. Он давно просох, и я принялся его расчесывать. Фанерная моя дверь неслышно приоткрылась, и в щель просунулась худенькая мордочка Вали Нетти.

— Дядя Коля, — сказала она, — здравствуйте.

— Я тебя уже видел сегодня, — ответил я, — имел счастье.

— Дядя Коля, у нас у одной артистки разорвался тапочек. Мы занимались и вдруг подметка тррык! — и мешает заниматься. Прихватите ее, пожалуйста. Ведь вы умеете?

— Я все умею, — сказал я. — Давайте сюда вашу тапку.

Валя раскрыла дверь пошире и сказала, став к сторонке:

— Ирина, иди!

Та вошла.

Я таких синих глаз никогда не видел. Постояв немного, она улыбнулась уголками губ и протянула длинную прекрасную руку. Я пожал ее.

— Ирина, — сказала она.

Я ответил ей. Она сняла с ноги тапочку, я взглянул: там было трехминутное дело. Я сказал:

— Садитесь.

Она села, закинув ногу на ногу. Маленькая ступня с тонкой лодыжкой и литыми, как пульки, плотно прилегающими друг к другу пальцами.

Она сказала:

— Это так неловко. Но Валя сказала, что вы хотя и большой артист, а добрый. Вот я и решилась. Еще раз простите меня.

Я достал дратву, щетинку, воск и шильце.

— Так вот вы какой, знаменитый дядя Коля, — сказала она. — И как это так получилось, что я никогда не видела вас в манеже?

— Не велика беда, — сказал я, — еще успеете!

— Еще нахохочешься, — сказала Валя.

— Я вижу вас впервые, — сказал я, — какой жанр? Впрочем, постойте, я скажу сам.

Я вспомнил, что сегодня сказала мне Нора, вспомнил ящики во дворе и снова увидел ее длинные руки и весь рисунок, все встало на место, и я сказал:

— Воздух.

Она спросила:

— Вы знали?

— Нет, — сказал я, — я не знал вас, но теперь знаю: Ирина Раскатова.

Валя захлопала в ладоши:

— Ой! Мнемотехника!

— Да, — сказала Ирина, — просто чудеса…

Просто чудеса…

— Вы с Волги, — сказал я.

— Опять чудеса! Откуда вы знаете?

Откуда? Оттуда. Тебя твое «о» за три версты выдает. Раз. Борис говорил — два.

Я сказал:

— Да я вообще про вас все знаю. Наверное, мечтали быть физиком?

— Нет, я думала — юристом.

— Учились?

— Третий курс… А потом художественная гимнастика в кружке, студии, встреча с Мишей… И вдруг такая перемена! Просто я везучая, — сказала она убежденно и строго посмотрела на меня. — Кем я была? Обыкновенная студентка с обыкновенными тройками. Никаких способностей — середняк. И вдруг эта встреча, он меня увидел, нашел, полюбил, стал учить, выучил, вытренировал, дал мне призвание, о! — Лицо ее разгорелось, она увлеклась и уже не стеснялась ни Вали, ни тем более меня. — Сколько в нем

воли, и вообще какой он благородный и верный, замечательный, редкий человек Миша!

Первый раз слышу такой отзыв о Мишке Раскатове. Великая сила — любовь. Недаром говорят: «Любовь слепа». Нет, стой, к черту соседкины приговорки. Это там, где кухня, котлетки, луковый дух, это там так говорят. А скорей всего, это у меня слепая душа, что я не разглядел его до сих пор. Не разглядел и пошел повторять за всеми: «пижон», «стиляга». А он, наверное, другой, где-то там далеко, внутри, недаром так любит его эта красивая, чистая девочка.

Я закрепил узелок и протянул Ирине тапочку.

— Готово, — сказал я. — Получайте ваш хрустальный башмачок.

Она, не раздумывая, протянула ногу, и я обул ее.

— Спасибо, — сказала она, вставая.

— Не за что, — сказал я.

Она подошла поближе и наклонилась ко мне низко, почти присела, ведь я сидел на маленьком стуле, и ее глаза были прямо против моих.

— Я не за тапочку, — сказала она, и я увидел нежность и благодарность в этой огромной синеве, — я за хрустальный башмачок.

Валя Нетти уже открыла дверь и держала ее

распахнутой. Ирина пошла за ней, но в дверях остановилась и сказала мне уже совсем просто и дружелюбно, как говорят люди старинному своему знакомцу, приятелю и другу:

— Приходите завтра в двенадцать нашу репетицию смотреть.

Я сказал:

— Обязательно.

Тогда она как будто вспомнила:

— А вы когда будете репетировать?

И мы бы пришли.

— Хочется посмеяться, — сказала Валя Нетти.

— Вы меня уж прямо на представлении увидите, — сказал я, — вечером. Ведь я как раз перед вами иду по программе. Вот вы перед своим выходом и увидите меня. Через щелочку можно или сверху, где прожектор стоит, а еще лучше просто послушайте на ухо, как принимают.

— Нет, послушать — это неинтересно. Я непременно своими глазами хочу, сказала она. — Ну, еще раз спасибо! До завтра!

— До завтра, — сказал я.

— До завтра, — сказала Валя Нетти.

16

Я проснулся так рано оттого, что мне дьявольски хотелось есть. Вода под краном была студеная, голубоватая от холода, я умылся и вышел на улицу. Было уже часов восемь, я взял себе свежего хлеба в булочной и прошел на рынок, в молочный ряд. Жизнь уже кипела вовсю, и выстроенные в шеренгу стаканчики простокваши выглядели очень аппетитно. Я встал сбоку у прилавка и один за другим съел несколько таких стаканчиков. Потом я выбрал ряженку, она еще вкуснее простокваши, розоватая, нежная, освежающая, так бы и ел с утра до вечера.

Дебелая молочница, хозяйка этого товара, смотрела, как я ел, и выражение ее лица было сочувственное и немного грустное, как будто ей все про меня было известно и понятно. Я расплатился с ней и прошел в другой павильон. Там пахло всем осенним Подмосковьем сразу — укропом, чесноком, рассолом, грибами и еще чем-то, и я купил десяток репок и вернулся в цирк, потому что мне нужно было повидаться с Лялькой. Завидев меня, она по традиции приветственно подняла

хобот. У ног ее ползали Панаргин и Генка. Возле них, на полу, на промасленной тряпице, лежали огромные, похожие на кинжалы и серпы, ножи, железные щетки и рашпили.

— Маникюр, — сказал Генка, кряхтя и кромсая Лялькину ногу. — Вот, дядя Коля, как слониха живет — почище любой графини!

— Да, — сказал Панаргин. — В Индии недаром говорят: искусство танца, искусство живописи, ткачества, ювелирное искусство — все это ерунда по сравнению с искусством ухода за слоном. — Он кивнул мне головой и прополз под Лялькиным брюхом к другой, задней ее ноге.

Ну что ж, выглядела она прекрасно, и мой утренний визит приняла благосклонно, и угощение проглотила молниеносно, все было в порядке, и я сейчас, пожалуй, только мешал им. Я отправился к себе.

Чтобы сократить расстояние, я решил пересечь манеж, и как только вошел в зал, увидел, что в манеже уже работают двое каких-то мальчат, они репетировали партерную акробатику, и я остановился в проходе, у столба, чтобы, оставаясь незамеченным, посмотреть работу. Не очень-то они были способные, эти мальчата, или просто еще не очухались ото сна, только дело у них не

ладилось, они падали ежеминутно, спотыкались, и простое арабское колесо выглядело у них у обоих, прямо скажем, кошмарно. Их тренировал Вольдемаров. Я смутно видел его горилью фигуру в первом ряду партера. Хозяйский сынок. До революции его папаша имел свой цирк где-то в провинции, хороший был жук, что и говорить. До сих пор наши старики вспоминают его с неприязнью. А сынок его теперь был руководителем номера «акробаты-прыгуны», и, видно, яблочко недалеко от яблони падает, дрянь был порядочная. Сейчас он орал на этих двух ребят за то, что у них не клеилась работа, объяснял, путано и нетерпеливо, и задергал бедняг начисто. Когда же наконец до него дошло, что мальчишки просто устали, он с досадой крикнул им:

— Эх, плеточку бы сюда потолще! Живо бы все наладилось. Ну да ладно, черт с вами, отдыхайте.

Мальчишки облегченно вздохнули и уселись на барьер. Один сел ногами внутрь, а другой ногами наружу. Ему этого делать не стоило, конечно. В цирке есть, до сих пор живет, примета, что нельзя сидеть спиной к манежу, ну, как нельзя свистеть на сцене, не принято это, неуважение к месту своей работы, за это часто влетает. И Вольдемаров сейчас же обрадовался поводу сорвать

злость, подскочил к бедняге, сидящему ногами наружу, и дал ему довольно мощного леща.

— Не сидеть спиной к манежу. Он тебя хлебом кормит.

Мальчуган испугался и заплакал. Его товарищ обнял его за плечи, и они убежали.

А меня бросило в жар. Мгновенно. Я этого не люблю. Ничего такого не люблю. Ненавижу. За это Я могу убить. Но в эту минуту я увидел, как из бокового прохода к Вольдемарову метнулась чья-то туманная тень.

Раз, бац! Вальдемаров получил две классические, не цирковые, нет, а самые настоящие, жизненные оплеухи. Он зарычал, и страшные кулаки его сжались. Он двинулся вперед, совершенно закрыв от меня фигуру своего победителя. Я был уверен, что сейчас начнется грандиозная потасовка, но, к своему удивлению, увидел, что грозный Вольдемаров вдруг отступил и, громко захохотав каким-то картонным, деланным смехом, круто повернулся и вышел в главный проход.

Теперь он перестал заслонять от меня эту незнакомую фигуру, которая только что, сейчас, надавала ему по морде, вступившись за ребенка.

Я пристально вгляделся, и мне все стало ясно.

Это была Ирина.

17

Ровно в двенадцать часов манеж освободили — Раскатовы должны были прорепетировать свой номер, и в партере стали появляться все свободные от работы люди. И несмотря на то что их было побольше ста, все равно цирк казался пустым, огромным и плохо освещенным. Люди садились поближе, в первые ряды, но я знал, где нужно сидеть, чтобы как следует рассмотреть работу, и я сел подальше, ряду в десятом, немного слева от выхода.

Ирина появилась, одетая в какой-то будничный серо-коричневый халат, небрежно накинутый на плечи. Она остановилась у форганга и заговорила о чем-то с униформистом, стариком Жилкиным, не знаю, о чем они говорили, Жилкин смущенно разводил руками и тряс головой, видно, в чем-то отказывал Ирине. Она отвернулась от него, спокойно и безразлично, и стала глядеть на Мишу Раскатова, который неизвестно почему с утра пораньше нарядился в черный вечерний костюм с крахмальным воротничком, при галстуке и при булавке. Волосы его были набриолинены и

причесаны туго-натуго, волосок к волоску. Они прямо-таки сверкали, и на левой руке Мишки, на безымянном пальце, еще сильнее сверкало большое кольцо, мужской обольстительный перстень. Где этот парень нагляделся? Где нахватался этого дешевого шику производства тысяча девятьсот тринадцатого года? Все это раньше называлось костюмом в «салонном жанре» — так полагалось выглядеть высококровному «аристократу цирка» и «королю воздуха», но в наше время это выглядит уже смешным и нелепым, и как Мишка не понимал этого? И пока я все это думал, наш вездесущий Жек в последний раз опустил и проверил трапецию, неподвижно укрепленную, некачающуюся, так называемую штейн-трапе. Мишка тоже принимал участие в этой работе. Я понял, что на этой штейн-трапе Ирина для начала покажет серию обязательных для воздушных гимнасток трюков и только потом, в финале, она пойдет на рекордный трюк и продемонстрирует «гвоздь» своей работы, знаменитый, поставленный Раскатовым «номер смертельного риска».

Мишка что-то покрикивал властным голосом и делал великолепные жесты, посылал в разные места униформистов, и когда посылал, протя-

гивал костлявый, загибающийся кверху палец. Ирина все еще стояла внизу у входа, она курила длинную папиросу. Лицо у нее было веселое и светлое, и я долго смотрел на нее, все не мог глаз отвести. Да, это была очень красивая и очень юная артистка цирка, артистка от рождения, артистка с головы до ног, от узкой и тонкой щиколотки до маленькой изящной головки с синими, спокойными и странно огромными глазами. Да, это была настоящая артистка цирка с прекрасными сильными руками, перебинтованными у запястий, с таинственной, пленяющей сердце улыбкой на розовых, словно очерченных губах с благожелательно приподнятыми уголками. Она долго так стояла, и я все любовался ею, униформисты все еще возились в манеже, и, видно, ей надоела эта возня, она что-то сказала Жеку негромко и повелительно, потом решительно сбросила на барьер серо-коричневый будничный свой халат. Стали видны ее нескончаемые эллинские ноги, и гибкая талия, и втянутый мускулистый живот. На ней надет был черный костюм, плотный и прилегающий, обтягивающий всю ее безупречную фигуру. Она попрыгала немного на одном месте, чтобы восстановить кровообращение, дать ему хлыста, что ли, и потом, остановившись, повела

вокруг глазами, рассматривая немногих собравшихся в зале. Я смотрел на нее, и мы встретились глазами, и, узнав меня, она опять-таки для разминки побежала ко мне, вверх по ступенькам. Я задыхался, глядя, как она бежит ко мне, и встал ей навстречу.

— Будете смотреть? — сказала она и протянула мне обе руки.

— Да, — сказал я, — буду смотреть. Интересно.

— Я рада, — сказала она, — посмотрите.

Я так стоял, я держал ее руки, и краснел, как мальчик, и, наверно, глупо выглядел, и она тоже покраснела. Не знаю, в чем тут было дело, не знаю, что нам почудилось в эту секунду, не знаю, до сих пор не знаю. Знаю только, что хорошо это было, но неудобно все-таки, нельзя же так стоять на виду у всего цирка, и она отняла руки и сказала:

— Пора.

Я сказал:

— Да. Идите. Я смотрю.

Она двинулась было, но я остановил ее снова.

— Ирина, — сказал я, — кончится сезон, и вам, после успеха… успеха вашего с Мишей аттракциона…

— Ой, — сказала она, — надо спешить…

— Минуточку… одну, — сказал я. — Я думаю, что наше управление предложит вам интересное гастрольное турне. И вам будет нужен антураж. И вы организуете коллектив вокруг себя. Так вот, когда это случится, возьмите меня с собой. Если будет нужно, я пойду в коверные. Если очень будет нужно, согласен стоять в униформе.

Она улыбнулась удивленно.

— Вы? В униформе? А зачем?

— Чтобы защитить вас, — сказал я. Не знаю, почему сказал.

Ей все это показалось смешным, она рассмеялась.

— Меня не надо защищать, — сказала она, — да и от кого? И потом, у меня есть Миша. Да я и сама сильная. Я постою за себя! Вы думаете, я слабая женщина? Как бы не так, сейчас увидите!

И она побежала вниз, девушка из Спарты, с тонкими щиколотками и узкой талией, золотоволосая, с синими глазами, девушка, которая любит благородного, чудесного человека — Мишу Раскатова.

— Открой проход! — крикнул внизу Мишка и картинно показал пальцем.

Униформисты отодвинули две дольки барьера под оркестром, получилось как бы два выхода

на манеж, один — старый и привычный, другой — с противоположной стороны, странный, под оркестровой эстрадой, его употребляют редко — во время пантомим, или для выпуска животных, или для какой-нибудь оригинальной режиссерской выдумки. Теперь всем нам, сидящим в партере, стал виден наш неприглядный утренний цирковой пол. Он был в этом месте цементный, серый и никак не радовал глаз. Ничем не был он застлан, но пришел какой-то человек и положил на этот пол тощий мат.

— Жек! В оркестр! — снова крикнул Мишка, и я увидел, как Жек взбежал в оркестр и подошел к невысокому оркестровому барьеру, поставил на него левую ногу, согнутую в колене, а на ногу положил левую руку ладонью вверх и покрыл ее так же повернутой кверху ладонью правой руки.

— Так стоять! — резко и коротко бросил Мишка.

Пробор его сиял. Кольцо сверкало.

Было тихо. Меня тошнило от этой показухи.

— Смотри, какую устраивает продажу! — сказал Борис.

Я не заметил, как он появился. Я все смотрел на Жека. Я сказал:

— Боря, объясни, зачем он поставил Жека в

оркестр?

— На всякий случай, — сказал Борис.

Сердце мое сжалось.

— На какой это всякий случай? — спросил я. — Какой может быть случай? Ты допускаешь?

Но Борис положил мне руку на плечо и сказал:

— Ничего быть не может, не бойся. Она, видишь ли, должна сделать в воздухе, вот там, — он показал, где приблизительно, — двойной сальто-мортале. К ногам ее петлями прикреплены штрабаты, которые, в свою очередь, намертво своим основанием прикреплены к трапеции. И когда она после двойного сальто полетит из-под купола вниз, публика будет думать, что ей конец. Но штрабаты, — а это, по существу, простые веревки, особым образом свитые…

— Учи, учи… Объясняй мне про штрабаты. Нашел новенького…

Он продолжал:

— Вот, вот, эти самые штрабаты ее саморти-зируют, во-первых, потому, что они далеко не достают до полу, до ковра на манеже, им не хватает двух или трех метров длины.

— И она повиснет головой вниз? Так, что ли? — Меня уже начинало трясти. А он твердил свое:

— Во-вторых же, они у Мишки — в этом и есть

секрет, — они с резиновыми, где-то спрятанными амортизаторами. Итак, она летит вниз — штрабаты держат ее за ноги, а потом вступает резина и элегантно вскидывает ее обратно на трапецию. Она отстегивается и делает комплименты. Все рассчитано. Все проверено. В Ереване проделано пять таких полетов. Грандиозный эффект.

— Да уж куда больше, — сказал я.

— Там многие в обморок падали, — сказал Борис хвастливо, — в Ереване-то. Еще бы, прямо американский аттракцион. С жутью.

— Сволочи вы все! — сказал я. — Теперь скажи мне, пожалуйста, зачем Жек стоит вон там, в оркестре, весь изогнулся и сложил руки на подстраховку? И зачем положили этот хреновый мат на полу, под оркестром?

— А я что, знаю, что ли? Так Мишка приказал, ведь он же изобретатель, а не я. Уж ему-то она дорога, ближе, чем тебе, как ты думаешь? Зачем мат? Так. А вдруг… ну, допусти ты миллионную долю риска! А вдруг по каким-нибудь причинам изменится линия полета? Вдруг она полетит на оркестр? Тогда Жек толкнет ее руками, и она полетит вниз, в манеж, но уже с силой Жекиного толчка. Тут закон физики. Она первоначальную силу полета потеряет, понял? А получив новую

силу от Жека, ей лететь останется два-три метра. Но Мишка сказал, что это один шанс на сто миллионов. Сиди спокойно, ясно тебе?

— Ясно, — сказал я, — мне ясно, что риск есть. И большой. Один на сто миллионов. Это чересчур большой риск.

— Да что ты! — сказал Борис. — Ну, я не знаю, как тебе объяснить. Тут, наверное, просто психология — этакая кроха мысли, осколок боязни, последний страшок, ну вот и мат — на всякий случай.

— На всякий случай? Да на всякий случай нужно положить сто пуховых матов, и вывалить двести возов сена в проход и в манеж, раз уж у вас в голове гнездится такой случай, собаки вы и сволочи. Весь цирк надо обтянуть сеткой, раз у вас в голове есть допуск. Есть какой-то там, видишь, стомиллионный шанс, сукины вы дети, все вместе взятые, сволочи вы, распроклятые вы собаки, дерьмо, негодяи вы, мерзавцы и подлецы. Вот кто вы есть, если хотите знать…

Борис встал и отошел от меня, я его здорово допек, мне кажется, в него проникло. Он обернулся.

— Коля, — сказал он тихо, — брось, не бранись, без тебя тут не знают, что ли? Больше всех ему

надо. — Он пошел.

— Да, — крикнул я ему вслед, у меня что-то клокотало в груди, — мне больше всех надо!

Ирина была уже на трапеции. Я был уверен, что она начнет работу с маленьких скромных трюков, постепенно перейдет к более сложным и так далее, потом подведут зрителей по нарастающей к сверхсложным и потом уже, на самый на финал, пойдет в этот разрекламированный двойной сальто-мортале. По традиции все должно было происходить именно так. Но не тут-то было, я ошибся, и как я был рад, что ошибся. Этот аттракцион, видимо, готовился на чистом сливочном масле, на высочайшем уровне, или уж это артистка такая была — самородок, не знаю. Без всяких проволочек Ирина в остром и вместе с тем чрезвычайно ясном темпе встала на трапецию и сделала труднейшую на ней круговую раскачку, ни за что не держась, ни к чему не привязанная, ничем не застрахованная, и затем сразу, без предупреждений, без продажи на нас обрушился ослепительный каскад чемпионских трюков: задний бланж, «флажок» на одной руке, баланс на спине, стремительный обрыв, снова спина и резкий выход на «флажок» с комплиментом. Это было как музыка, так пианист пробегает

быстрыми своими пальцами весь рояль слева направо, сверху донизу, как бы балуясь, играючи, но четкость и чистота звука, бешеный ритм сразу поражают слушателей.

После такого вступления, которое было под силу только законченному, совершенному мастеру, только железному, безотказному телу, только прозрачной и неукротимой воле и только бесстрашному, дерзкому сердцу, после такой небывалой заявки Ирина вновь встала на трапецию и очень скромно и вместе с тем величественно сделала нам комплимент приветственный жест нам, ее товарищам. Так в цирке редко случается, а сейчас случилось: все мы, сколько нас было здесь, сидящих в партере, все мы вдруг поднялись со своих мест и захлопали ей, по-братски, искренне, от горячей актерской души. Это были аплодисменты мастеров, признающих работу своего собрата-мастера, это были аплодисменты, венчающие самый конец строжайшего «гамбургского счета», и Ирина поняла это и улыбнулась, растроганная.

Все сели. Меня знобило. Ирина сейчас копошилась где-то на штамберте, я вгляделся — это она отстегивала туго притянутые штрабаты. Наконец она освободила их и вдела в петли ноги, каждую

поочередно. С глухим звоном съехала вниз эта первая, уже ненужная трапеция. В зале было тихо. Ирина выпрямилась и посмотрела вниз. В манеже было светло, электрики дали полный свет. Мы все, затаив дыхание, смотрели на нее, и она, конечно, видела всех нас, но потом она перевела свой взгляд и нашла Раскатова. Михаил стоял за матом под оркестровой эстрадой, у него в руках был конец длинной и тонкой веревки от карабина, держащего наверху привязанной вторую, свободную, трапецию. Я услышал, как звонко щелкнул карабин, и легкая трапеция соскользнула из-под купола и проплыла по воздуху, прямо к Ирине. Ирина нетерпеливо протянула к ней руки и взяла ее на лету, твердо и уверенно. Она держала трапецию обеими руками и ждала команды. Сматывая веревку, Раскатов перепрыгнул через барьер и встал у бокового прохода. Он поднял голову и не удержался, сыграл — припал на одно колено, чтобы еще раз прикинуть геометрическую точность линий предстоящего полета. Он смотрел вверх и, насладившись этой затяжкой, этим слышным ему трепетом зала, встал на ноги и крикнул сухо и коротко, словно выстрелил из стартового пистолета:

— Алле!

Вместе с этим звуком Ирина ушла в воздух. Сейчас в свете прожекторов она казалась большой черно-серебряной птицей. Она раскачивалась широко и свободно, плавно и мерно, радуясь полету и наслаждаясь им, и мне казалось, что я вместе с ней чувствую эту желанную невесомость, чувствую, как сладкий и хрустящий воздух бьется в грудь и как весело ей подгибать ноги и делать ритмические рывки ногами и животом, и амплитуда полета становится все шире и мощней, и тишина, и восторг, а внизу влюбленные и тревожные глаза. Не надо никаких упражнений и поз, не надо, не надо, вот так, вот так, еще и еще, непринужденно, раскованно. А теперь прибавь, пора, наступило время, мах!

Мах!

Ирина сделала резкий и мощный рывок животом и взлетела к самому куполу цирка. Здесь она бросила трапецию, тело ее сгруппировалось и перевернулось вокруг себя, через спину, свершился первый виток, и тут Ирина мягко коснулась лбом о неизвестно откуда появившийся железный фонарь. Звука я не услышал, я только увидел прикосновение маленькой золотой головки к железному абажуру. Полет был нарушен, Ирина стремглав полетела вниз. И в эту тысячную долю

секунды я успел возликовать, я подумал: она коснется Жека, Жек изменит силу ее падения недаром он там стоит со сложенными для страховки руками!

Ирина пролетела мимо Жека.

Где-то со свистом мелькнула в голове еще одна надежда: «Штрабаты! Они короткие! Она не Долетит до пола! Повиснет!»

Штрабаты оказались длиннее, гораздо длиннее, и Ирина пролетела в проход.

— Мат!

Она ударилась головой. Об пол. Она вонзилась головой в пол. Тук.

Штрабаты все-таки подтянули ее и потащили из прохода в центр манежа, и она прыгала, как китайский мячик, волочась и ударяясь головой о пол.

Тук. Тук. Тук.

А потом без звука — о манеж.

Тук. Тук.

И о ковер.

Тук.

Мишка держал ее на руках. Он кричал. Все кричали. Мишка кричал ужасней всех. Он кричал и старался пальцами открыть ее глаза. У него не выходило. Он кричал и звал ее. Он целовал ее,

и кричал, и звал ее. Кто-то обрезал штрабаты. Мишка побежал к проходу, он бежал, он нес ее, бежал к проходу и кричал. Появились носилки. Ее взяли у Мишки, и положили на носилки, и понесли в проход. За занавеску. Все побежали за носилками. Мишка бежал впереди всех. Он кричал. Он ужасно кричал.

Я остался один.

Внутри меня не было ничего. Пусто. Ни (сердца не было, ни легких, ни крови. Ничего. Кто-то выжег у меня все внутри. Лампа перегорела. Кожа есть, ребра. Больше нет ничего. Разве это было наяву — то, что произошло сейчас, две минуты тому назад? Еще качается трапеция. Я поднял глаза. Высоко над куполом цирка, точно повторяя круг барьера, висели железные фонари. Я сразу узнал главный фонарь. Он был безобразно измят.

18

Золотой тогда день стоял над городом, прохладный, золотой и синий. Последние легкие листья бесшумно слетали с деревьев и, свернутые в трубочку, шуршали на сером асфальте. Золотые были листья, теперь они шуршат на асфальте, сухие, ломкие, рассыпающиеся в прах под ногой. Женщины в белых фартуках сгребают их в кучу и, неловко чиркая спичками, поджигают.

Я стоял возле цирка в мучительном ожидании, и не было во мне ни мыслей, ни чувств. У подъезда вытянулись цугом машины, большая толпа стояла почти неподвижно, люди смотрели в распахнутые двери цирка, оттуда неслись приглушенные звуки оркестра.

Мне захотелось услышать запах листьев, и я пошел на рынок и нашел то, что мне нужно было. Немолодая женщина с русскими серыми глазами продала мне огромную охапку последних осенних листьев. Она скорбно покачала головой, подавая их мне. Я вернулся в цирк, положил листья у Ирининых ног и снова вышел на улицу. Видно, я здорово огрубел — я ничего не

чувствовал. Стоял возле цирка, смотрел на людей и слушал их бессвязные речи. Огромная машина стояла рядом. Первыми вышли музыканты, они выстроились сбоку, никаких дирижеров не было, музыканты, видно, наизусть знали эту музыку. И тут понесли венки, а за ними выплыл гроб, и я понял, что это Ирина, что это ее несут, что это Ирина так плавно движется на плечах поникших людей. Я узнал Жека, и Жилкина, и Бориса, и Генку, и других, и я побежал к своим товарищам. Я побежал, спотыкаясь, вперед и, как живое тело, обнял тяжелый, пахнущий листьями гроб.

Трубная — Малый театр — кино «Ударник» — Калужская — Градские больницы — Донской…

Как это бесталанно, как уныло, как мрачно придумано. Кто режиссер? Кто это ставил? Это надо изменить. Закрыть и укатать цветущим, вечнозеленым газоном эту безнадежную яму, сорвать и сжечь эту зловещую занавеску разве так должен уходить от нас близкий, любимый человек? Разве так должна уходить от нас смелая, сильная, дерзкая девушка? Высокий купол ярко-синего неба, звенящие тросы, круженье золотых листьев, мерцанье далеких звезд и милый облик, улетающий туда, в космос, чтобы ступить на Млечный Путь и светить нам оттуда вечной и

светлой печалью.

Я ушел оттуда, и долго плутал по Москве, и пришел наконец к цирку. Я взял в киоске газеты, остановился у главного входа и механически развернул одну из них. Там было фото ребенка, убитого во Вьетнаме. У его тела рвала на себе волосы мать. И вот здесь, на ступеньках цирка, впервые за эти дни что-то сотряслось во мне, и спазма схватила за горло, и я облился слезами. Я отвернулся к стене от людей и постоял так недолго. Кто-то дернул меня за руку. Это был мальчишка лет семи, в смешном картузе козырьком набок. У него были круглые блестящие глаза. Зубов не было.

— Дяденька, — сказал мальчишка, — это на когда билет?

Я посмотрел его билет и сказал:

— Это на завтра билет. На утренник. В двенадцать часов начало.

Он сказал:

— Я приду. А клоун будет?

Ах, вот оно что. Вы собрались на утренник, товарищ в кепке с козырьком набок? И вы, конечно, хотите увидеть тигра и Клоуна? Или слона и Клоуна? Или, на худой конец, собачек и Клоуна. Клоуна! Обязательно Клоуна!!! Ну, что ж, раз

так, — я приду вовремя. Не беспокойся, не опоздаю. Можешь на меня положиться.

Я сказал:

— Конечно. Клоун будет.

Он сказал:

— А вы почему синий?

— Чтобы смешней, — сказал я и выпучил глаза.

— Я люблю клоунов, — сказал он благосклонно и рассмеялся.

Он рассмеялся, мой маленький друг и хозяин, моя цель и оправдание, он рассмеялся, мой ценитель и зритель, и были видны его беззубые десны.

Он рассмеялся, и мне стало легче.

19

— Скажите Алексею Семенычу, что пришел Николай Ветров.

— Ну и что? — сказала секретарша.

— Мне нужно с ним поговорить.

— Алексей Семенович пишет докладную. Сегодня неприемный день.

Суровый у нее был тон. Но я сказал:

— Вы ему скажите, что пришел Николай Ветров. Тогда он отложит докладную.

Она посмотрела на меня. Я не внушал ей доверия.

— Не знаю, товарищ, — протянула она, — я как-то не уверена…

«Синее лицо, — думалось ей, — в крапочку. Ну и тип! Уж не бандит ли?» Эти мысли бегали по ее лицу, как световая реклама на «Известиях».

— Вы, наверно, недавно на этом месте, — сказал я. — Понимаете ли, здесь специфика. Вы скажите, что пришел я, и он меня примет.

Она передернула плечиками и пошла в кабинет. Через секунду она возвратилась. У нее было гостеприимное лицо.

— Пожалуйста, — сказала она, — проходите.

Я вошел.

— Что скажешь? — сказал он, не подымая головы. Он что-то строчил.

Я сказал:

— У меня к тебе дело, понимаешь. Просьба. Ты ведь знаешь, я никогда ни о чем тебя не просил.

— Давай, — сказал он.

— Алексей Семеныч, припомни, — сказал я, — скажи, я когда-нибудь, ну хоть раз, отказался от поездки на фронт, если ты посылал?

— Не хватало, чтобы отказывался от поездок на фронт, — сказал он саркастически и поставил точку, там, на своей докладной. — ЗдОрово, сказал он, подняв глаза. — Слушай, а испугался, когда изуродовал лицо?

Он еще не видел меня с крапочками. Я сказал:

— Да, конечно. Уж очень громко бахнуло. Так вот, когда меня отправили на сто двадцать представлений на целину, я отказывался? Говори.

Он смотрел на меня спокойно, с минимальным интересом.

— Ну, не отказывался. К чему ты это?

— А в колхозы, на Магнитку, на Братскую ГЭС, на Хибины, в Каракумы, в Арктику, к черту, к дьяволу я отказывался?

— Учти, Коля, — сказал он, — время дорого.

— А у тебя есть ко мне претензии как к работнику, Алексей Семеныч? Может быть, у меня были выговора или нарушения дисциплины? А?

— Слушай, — сказал он, — если ты выпил, так иди, не мешай работать. — И он снова взялся за ручку.

— Нет, — сказал я. — Алексей Семеныч, вот она, просьба, ты посмотри свой график, вот сейчас при мне, посмотри, найди какой-нибудь «горящий» цирк и немедленно отправь меня отсюда. Объяснять ничего не буду. Я там живо подниму сборы. Я там буду давать вечера смеха. Отправь меня, друг.

Впервые в его глазах я увидел настоящее удивление. Он весь подался вперед. Он ушам своим не верил.

— Хочешь бросить программу?

— Нет. Просто не могу. Нету сил, — сказал я. — Давай без скандала.

Он помолчал, не спуская с меня глаз, и вдруг ему показалось, что он нашел, чем меня убедить:

— Не дури, Коля, брось, — сказал он, — ты интереса своего не понимаешь, тебе надо быть в этой программе, надо! Ну, посуди сам, ты давно не был в Москве и вот появился. Новая программа, новая

публика, центральная пресса, и снова все заговорят о тебе: Ветров, Ветров, вы видели Ветрова? Я вчера видела Ветрова, то-се, встречи с композиторами, Дом актера, а как же? Там, глядишь, министр в цирк заглянет, ну, пусть не сам, пусть его дети, — кто понравился? Опять Ветров! А тебе уже давно пора звание получать, а ты тут как тут, на виду у общественности столицы! И нам будет легче ставить вопрос. Не дури, Коля, брось…

— Слушай, — сказал я, — подбери город подальше. И где сборы плохие. Я вам помогу.

Тут он ни с того ни с сего игриво так покачал головой, двусмысленная улыбка пробежала по его губам, и он саданул меня с размаху:

— Коля, никогда не поверю, что ты придаешь такое значение этому буфетному романчику…

Я посмотрел на него. Он вскочил и побежал от меня, натыкаясь на стулья и на ходу опрокидывая их и ударяясь о косяки столов. Из дальнего угла он закричал, выставив руки, обороняясь:

— Не смей! — кричал он. — Опомнись! Ты что? Успокойся!

Он был белый как мел. Я отошел к окну и покурил немного. Постепенно сердце перестало стучать, кровь отлила от головы. В окно был виден наш старый бульвар и старое корявое

дерево, к которому три года назад вышла ко мне на первое свидание Тая. Тогда шел снег, тяжелый и холодный, а мне было жарко, и мы с Таей шли с непокрытыми головами и ступали по талому снегу, не разбирая, где посуше, и она все смеялась: «Как маленькие».

Я прокашлялся и обернулся, нужно было продолжать разговор. Алексей Семеныч сидел за столом и строчил. Видно, и он тоже поуспокоился. Я пошел к нему. Он сказал, не подымая головы:

— Честное слово, думал, что убьешь. Делай как знаешь. На тебе приказ. Иди к Башковичу. Я сказал:

— Спасибо. Будь здоров.

Он ответил:

— Приезжай в другой раз, Коля, мы тебе напишем.

Я вышел в приемную. Секретарша сидела за столом тише воды, ниже травы. Теперь она убедилась, что я бандит. Я взял трубку и соединился с Башковичем, и прочитал ему по телефону приказ Алексея. Он выслушал и, как всегда, ничему не удивляясь, ответил вежливо и спокойно, тщательно выговаривая все буквы в моем имени-отчестве:

— Все будет сделано, Николай Иванович. Билет

я вам вручу лично.

Я оставил приказ секретарше и попросил ее сделать копию для меня. Она кивнула головой. Я думаю, она боялась меня. Я поклонился ей и пошел из управления, пошел по крутой лесенке вниз, повернул в дверь налево и вошел в цирк. Хорошо, что я уеду. Здесь я бы не смог. Здесь все для меня погибло. Я пошел направо. С манежа доносилась затейливая, кудрявая музыка, барабан лупил вовсю. Шел детский утренник. Я прошел мимо буфета и встал у бокового прохода. Старая капельдинерша приготовилась открыть мне красную бархатную шторку, она думала, что я хочу пройти на места. Но я остался здесь. Музыка перешла на галоп. Потом наступила пауза. Сердце мое билось. Прошла секунда, и свежий, весенний, все оживляющий дождь пролился на меня: я услыхал спасительный плеск детских ладош.

20

Поезд отходил в ноль пятьдесят. Когда я вышел из такси, часы показывали половину первого. На вокзале было пусто и темно, мне показалось, что сегодня только я один уезжаю из Москвы. У вагонов не было ни провожающих, ни отъезжающих, лишь в еле мерцавших, наглухо занавешенных окнах киосков смутно мелькали силуэты продавщиц: там подсчитывали дневную выручку или убирали с витрин зачерствевшие шоколадные плитки. Громко и как бы вызывающе стучали наши шаги по сцепленному первым осенним заморозком перрону. Носильщик толкал впереди себя небольшую тележку с палкой-толкачом, тележка шла бесшумно, ею было легко управлять. Это усовершенствование мне понравилось, а то я всю жизнь не любил пользоваться услугами носильщиков, невозможно было смотреть, как чужой и частенько даже пожилой человек, наверняка уже больной и вообще усталый, тащит твой чемоданище, а ты не можешь ему помочь, потому что третьей руки у тебя нет, а эти две уже заняты через меру. А так мы шли, славно играя

в эту перевозку, шли легко и быстро, и я сказал носильщику, что сундук, да и большой чемодан заодно, мы сдадим в багаж, а со мной поедет только маленький, лакированный. Носильщик сказал:

— Ну-к что ж…

Мы прошли мимо седьмого вагона, в котором мне предстояло ехать, и потом мимо темного вагона-ресторана вперед, к голове поезда, и там носильщик сдал мои вещи, а я проследил, чтобы их не швыряли уж чересчур-то и объяснил заспанному и сердитому багажному дежурному, почему это для меня важно. Он хранил недоброжелательное выражение на заспанном лице, но сундук и чемодан устроил так, как мне хотелось.

Я заплатил носильщику, и он удивленно посмотрел на деньги, ему показалось много, и он подумал, что я ошибся и передал, но я сказал ему:

— Все в порядке.

Он приподнял кепку:

— Большое спасибо.

И заторопился к выходу. А я вынул папиросы и угостил дежурного, и мы покурили и постояли у багажного вагона и поговорили. Так, ни о чем. И потом он тоже ушел, и я остался один, совсем

один, по-настоящему, и, пожалуй, не очень-то сладко было мне в эти минуты. Мимо меня по соседней колее прополз какой-то допотопный паровозик, остановился рядом со мной и вдруг взвизгнул, как старая кликуша-истеричка, и потом задышал лихорадочно и часто и стал выбрасывать в сторону плотные и осязаемые на вид клубы дыма кремового цвета. Я попытался взять себе на память немного такого отличного дымка и сжал ладонь. Часы показывали сорок минут первого, нужно было садиться, и я пошел.

Возле седьмого вагона стояла Тая. Я подошел к ней вплотную, и она улыбнулась мне, подняв милое лицо, улыбнулась, как тогда, в самом начале, на бульваре, под деревом. Она положила мне на грудь свои руки в перчатках, не то собираясь оттолкнуть меня, не то притянуть к себе.

— Я здесь недалеко была, на день рождения ходила к сестре, — сказала она смущенно. — К Полине, к своей двоюродной. Ну, выпили, конечно. А потом сижу и вспомнила: сегодня в цирке говорили, тебя во Владивосток направляют, дай, думаю, провожу черта синего, раз уж он сам не пришел попрощаться, не пришел, не нашел нужным. Как ты мог, какое у тебя сердце, я весь день в цирке, два утренника отбарабанила, еле на ногах

стою. Не ожидала, Коля, что не зайдешь…

Я ничего не ответил. Она еще немного постояла и, полуотвернувшись от меня, тихо сказала:

— Переживаешь, да? За Ирину Васильевну переживаешь?

Она снова стала смотреть на меня и приблизилась, словно всматривалась, и наконец заговорила:

— Темный ты какой, весь темный, и глаза тоже. Осунулся как, подался, будто переехали тебя. Старый стал, совсем старый. Переживаешь… Я видела, как ты тогда с ней разговаривал и смотрел на нее, словно целовал ее, Ирину Васильевну. Молодой ты тогда стоял, вроде мальчика, не то что сейчас. Я тогда, Коля, каюсь, недоброго тебе пожелала, да и ей тоже, обоим вам, Коля, ведь меня словно кто ножом полоснул по сердцу, когда я увидела, что она тебя за руку держит. А теперь как каюсь… Ночей не сплю, ведь это ужас, ах, бедная, бедная! Мишка теперь совсем сопьется, а ведь хороший человек, он из-за нее, из-за любви-то к ней и вовсе было расцвел, а теперь пошел, говорят, закружился, опять соскочил с зарубки…

— Зря, Тая, — сказал я, — зря ты ей недоброго желала. Она Мишу любила.

Она задумалась и робко так сказала:

— Теперь надолго уедешь, да?

Я сказал:

— Тая, прости меня.

Она как будто вернулась откуда и вскинула на меня глаза:

— О чем ты?

Я сказал:

— Я уже давным-давно хотел Вовке подарить коня. Красивого, как в цирке, чтобы в яблоках и из ушей дым валит, из ноздрей пламя пышет. Тая, ты возьми у меня денег и купи от меня, ладно?

— Убери! — сказала она и ненавистно, и жалостно, и грозно. — Я куплю ему коня и скажу, что от тебя. А деньги убери! Мало ты меня обидел, да? Еще надо?

— Ты что, Тая, — сказал я. — Я ведь хотел хорошего. Только хорошего, что поделать — не вышло, не моя вина.

— Нет, — сказала она, и голос ее зазвенел и натянулся, — не надо, не говори, не надо врать, это ты говоришь так, чтобы еще злей моя мука была, а ты ничего не хотел хорошего между нами! Может быть, вообще в жизни ты мечтал, хотел хорошего, но не про меня, не ври. Не смеешь меня винить… На всю жизнь меня виноватой оставить…

Она полуговорила, полуплакала, спешила, за-

хлебывалась и комкала слова. Громкоговоритель заглушил ее, гулко пробасив что-то непонятное. Тая запнулась на полуслове.

— Сейчас отправляемся, — сказала проводница строго и взошла на подножку.

Я поднялся за ней. Тая смотрела на меня снизу вверх, и мне трудно, непереносимо трудно было уезжать. Если бы остаться и стать отцом ее Вовки, она ведь за это только добром ответит, и ни Лыбарзина не будет, ни майора с «Волгой», — никогда и я, наверное бы, не уехал, если бы в цирке под куполом все фонари были целые, и я увидел бы там счастливое от любви к Мишке Раскатову лицо, и низкий речной смех, и золото, и синь… Но я знал, что страшно изуродованный фонарь висит еще в цирке, и в ушах моих все еще жил этот жуткий, глухой и неясный звук. Китайский мячик…

Тук. Тук. Тук.

Поезд мягко тронулся. Тая пошла за ним.

Я хотел сказать ей: «Жди меня, Тая», да ничего не вышло, только шевельнулись губы. Но Тая это заметила, поняла, что я хочу что-то сказать, и крикнула отчаянно и так громко, как будто я был на другом берегу.

— Что? — крикнула она. Она уже шла очень

быстро, почти бежала. — Что ты говоришь?

Она устала от бега, и прижала руки к груди, и остановилась. Я сошел на подножку и оттянулся на поручнях. Она сделала еще несколько шагов вслед за убыстряющим ход поездом.

Я напрягся изо всех сил и крикнул туда, в город, в перрон, в ночь, в мокрые и горькие глаза:

— Прощай, Тая! Счастливо оставаться!

Я постарался улыбнуться и крикнул еще:

— А собачка дальше полетела!